ТЕКСТ

Кэтрин Энн Портер



Иудино дерево в цвету

Рассказы

Иудино дерево в цвету
Кэтрин Энн Портер

Аннотация
Кэтрин Энн Портер
Коротко об авторе
РАССКАЗЫ
- Девственница Виолета
- Жертва любви
- Колдовство
- Иудино дерево в цвету
- Постоянно, каждый день
- Мудрость, нисходящая свыше
- Старый порядок
  - Источник
  - Путь
  - Свидетель
  - Цирк
  - Последний лист
  - Фиговое дерево
  - Могила

Аннотация

Кэтрин Энн Портер (1890–1980) — признанный классик американской литературы XX века, представительница «южной школы». Всемирную известность Портер принес роман «Корабль дураков» (1962), по которому Стэнли Крамер снял свой знаменитый фильм.

В сборник вошли рассказы Портер, основанные на впечатлениях, полученных во время ее поездок в Мексику, и чудесные лирические новеллы о белых и черных обитателях американского Юга.

Кэтрин Энн Портер

Коротко об авторе

История моей жизни абсолютна невероятна.
Я сама не верю тому, что в ней рассказывается, ни одному слову.

Мадам Дюбарри

Капли Рассел Портер, ставшая известной всему миру под именем Кэтрин Энн Портер, родилась 15 мая 1890 года в маленьком техасском городке Индиан Крик в семье белых бедняков-южан — таких в южных штатах презрительно называли «белый мусор». Кроме Кэтрин, в доме росли еще четверо детей. В 1892 году мать будущей писательницы умерла — при очередных родах, и детишек забрала к себе в городок Кайл бабка, мать отца, которую звали Кэтрин Энн Портер (ее имя и стало псевдонимом благодарной внучки). Миссис Портер, суровая и строгая, но любящая и справедливая, заботилась о внуках до последних дней своей жизни. Кэтрин рано узнала, что такое бедность и нужда. После смерти бабушки — в 1901 году — она, проучившись некоторое время в школе в Сан-Антонио, была вынуждена зарабатывать

на жизнь себе и своему отцу, давая уроки пения и танцев. Кэтрин очень хотелось стать актрисой, ее кумиром в юности была блистательная Сара Бернар, однако на сцену она не попала, зато потом всю свою жизнь играла роль дочери богатого плантатора из южных штатов, разорившегося во время Гражданской войны.

В шестнадцать лет Кэтрин вышла замуж — в первый раз. Затем она это делала еще три раза, но ни в одном браке у нее не было детей.

В 1918 году она переехала в Денвер, где стала журналисткой, и довольно известной. Здесь же, в Денвере, тяжело переболела испанкой, была на грани жизни и смерти и выздоровела, благодаря настоящему чуду и, если верить ее повести «Конь бледный, всадник бледный», большой и трагически оборвавшейся любви. А в 1920 году Портер, впервые приехав в Мексику, тяжело «заболела» этой страной. Работая в нью-йоркских журналах и газетах, Портер при первой же возможности устремляется в Мексику — там она находит яркие и сильные чувства, революционный дух, мужественных и красивых людей; ей кажется, что именно здесь творится история. Мексика становится темой ее репортажей; в эти годы рождается знаменитый цикл ее мексиканских

рассказов «Иудино дерево в цвету», увидевший свет в 1930 году.

В начале 30-х годов Портер, получив стипендию Гугенхейма, едет в Европу, живет в Берлине, Базеле, Париже. Яркая, умная, красивая, независимая, Кэтрин пользуется огромным успехом у мужчин. В тридцать лет она позировала лучшим американским фотографам, которые снимали ее как идеал американской красоты. Когда же она оказалась в Берлине, на интересную американку обратил внимание рвущийся и быстро продвигающийся к власти Генрих Геринг, большой ценитель живописи и женской красоты. Кэтрин тогда была женой коммуниста, и общение со столь опасным поклонником могло кончиться плохо. Молодой писательнице пришлось бежать из Берлина — она уехала в Париж.

Надо сказать, Портер на протяжении всей ее жизни сопровождали пылкие возлюбленные, букеты цветов и безумные трагедии. Годы были над ней не властны, она оставалась такой же красивой, любимой и желанной, несмотря на уже не молодой возраст. Последний из ее четырех мужей, 26-летний А. Эрскин, был потрясен во время регистрации их брака: оказалось, его любимой жене — 50 лет! Однако все ее романы

— страстные, возвышенные, с цветами и слезами — кончались провалом, Кэтрин так и не удалось найти человека, который отвечал бы ее суровым и жестким требованиям.

В 1936 году Портер вернулась в Америку. В 1937 году выходят повести «Полуденное вино», «Конь бледный, всадник бледный» и другие произведения. Писательница становится известной. Продолжая писать, она читает курсы лекций в лучших университетах Америки и за границей — в Бельгии. В 1945 году Портер приступает к главному делу своей жизни — роману «Корабль дураков». В этом романе писательница ярко и тонко показала, как незаметно в обществе прорастают семена фашизма, как поначалу кажется, что все это не опасно, безобидно, и к чему приводит нежелание смотреть правде в лицо. Портер писала роман очень долго и закончила его только в 1961 году. 1 апреля 1962 года книга появилась на прилавках книжных магазинов и сразу стала бестселлером. Роман, а потом и замечательный фильм, снятый по нему выдающимся режиссером Стэнли Крамером, принес Портер не только мировую славу, но и материальное благополучие.

Портер получила за свои произведения все самые престижные награды Америки: Золотую

медаль Национального института искусств и литературы, Пулитцеровскую премию, премию за лучшую книгу. В 1966 году писательница стала членом Американской академии искусств и литературы.

Кэтрин Энн Портер умерла в 1980 году, в возрасте девяноста лет, в своем доме в Колледж Парке, штат Мэриленд. Ее похоронили, как она и велела, рядом с могилой матери, на старом кладбище в Индиан Крик.

«Главная черта Портер — понимание того, что истина никогда не бывает двумерной, и может быть найдена только в процессе, а не в статическом состоянии», — писал о Кэтрин Энн Портер другой выдающийся американец Роберт Пенн Уоррен. Искренняя и честная, писательница всегда в поисках истины. Портер искала ее в религии, в революции, в любви, но, как правило, находила лишь горечь и разочарование. В ее произведениях — живые, мятущиеся, страдающие люди, решающие для себя те же вопросы, которые волнуют каждого из нас. Кэтрин Энн Портер в своих произведениях рассказала о времени и о себе и сделала это ярко, страстно и талантливо, став одним из лучших прозаиков XX века.

Кэтрин Энн Портер мастерски воссоздает мрак при свете солнца.

«Тайм»

РАССКАЗЫ

Девственница Виолета

Уже почти пятнадцатилетняя, Виолета сидит на кожаном пуфе, обняв коленки, и наблюдает за кузеном Карлосом и сестрицей Бьянкой, которые у большого стола по очереди читают вслух стихи из книжки.

Иногда она опускает глаза на свои ступни в толстых, слегка косолапых коричневых сандалиях, выглядывающих из-под коротковатого подола, и оттягивает юбку книзу, чтобы не было видно их безобразия, но тогда корсаж оказывается слишком низко под просторной шерстяной синей блузой. Виолета с тихим глубоким вздохом распрямляет спину, и сандалии снова выглядывают наружу. Всякий раз при этом она робко поглядывает из-под приспущенных век на Карлоса, не заметил ли? Но он не замечал. Огорченная и немного обиженная, Виолета на какое-то время замирает и только слушает и смотрит.

Мука любви в моем сердце,
Я страдаю, но не ведаю, почему…

У Бьянки голос тонкий, пришептывающий. Она словно хочет всю поэзию сберечь только для

себя и Карлоса. Когда она наклоняется ближе к свету лампы, с ее плеча соскальзывает шаль с желтым шитьем по серому шелку, а Карлос двумя пальцами берется за ближнюю кисть бахромы и забрасывает ее обратно через Бьянкино плечо. Бьянка благодарит кивком и любезной, равнодушной улыбкой, но запинается и вынуждена начать строку сызнова.

Карлос скашивает на Бьянку свои бледные глаза, но тут же снова отворачивается и устремляет взгляд на картину на белой стене над головой у Виолеты. Картина называется: «Душеспасительная беседа Святейшей Девы, Царицы Небесной, и Ее верного слуги святого Игнатия Лойолы», как значится на тонкой металлической табличке, прикрепленной к резной золоченной раме. Дева с рассеянной усмешкой на румяном безбровом лице протягивает издалека руку над тонзурой святого, неловко распростертого у ее ног в молитвенном экстазе. Уродливое и устаревшее изображение, так считает Виолета, но там все на месте, чего его разглядывать? А Карлос почему-то не отводит от него взгляда, только покосится на Бьянку, и сразу же снова принимается смотреть на картину, так пристально, глаза прищурены, лохматые, золотистые брови сурово насуплены,

похоже на спутанные шерстяные нитки для вышивания тамбуром. И ни до чего ему как будто бы дела нет, оживает только когда его очередь читать. Но читает он так, что Виолету пробирает дрожь. Рот и подбородок у него необыкновенно красивы. На влажной нижней губе — отблеск света, Виолету это почему-то волнует.

Бьянка кончила читать, склонила голову, легонько вздохнула и так и осталась сидеть с приоткрытым ртом. Такая у нее привычка. Маменька, убаюканная над рабочей корзинкой их голосами, теперь, от тишины, проснулась и озирается по сторонам с жизнерадостной улыбкой поперек лица, но глаза у нее заспанные, утомленные.

— Читайте, читайте, милые дети. Я слышала каждое слово. Виолета, дочурка, сиди смирно, не вертись, пожалуйста. Который час, Карлос?

Маменьке нравится быть дуэньей при Бьянке. Виолета удивляется, почему маменька считает Бьянку такой уж красавицей. Но вот поди ж ты. Она часто говорит папеньке: «Бьянкита у нас хороша, как лилия!» А папенька на это отвечает: «Лучше была бы чиста, как лилия». Карлосу маменька как-то сказала: «Ты хоть и родня нам, племянничек, но лучше бы тебе допоздна у нас не засиживаться».

— Сейчас еще совсем рано, донья Пас.

Сам святой Антоний не мог бы потягаться с Карлосом почтительностью в обхождении с тетей. Она улыбнулась, довольная, и вновь впала в спячку, как кошка на ковре иной раз подымется, покружится на месте и снова завалится спать.

Виолета не отзывается и никак не реагирует на маменькины слова. Она приехала домой из монастыря в Такубайа впервые за целый год. Там ее учат скромности, чистоте помыслов, молчанию и послушанию, а также понемножку французскому и музыке и начаткам арифметики. Она делала, что ей говорят, но при этом недоумевала: почему то, что происходит вокруг, совсем непохоже на то, что она ощущает внутри себя? Изо дня в день все соблюдают заведенный порядок, будто никогда ничего другого и быть не может; а вот она, Виолета, знает наверняка, что за воротами монастыря ее ждет что-то необыкновенное и замечательное. Жизнь развернется перед нею, как длинный, яркий ковер, и она пойдет по нему, когда выйдет из церкви, а за нею по воздуху будет тянуться летучее, прозрачное покрывало. Следом пойдут шесть девочек с букетами и два мальчика-пажа, как было на венчании у кузины Санчи.

То есть Виолета, конечно, мечтает не о венча-

нии. Какие глупости. Кузина Санча венчалась уже совсем старая, ей шел двадцать четвертый год. А Виолетина новая жизнь должна начаться прямо вот сейчас, самое позднее — в будущем году. Это будет как бы один сплошной праздник — веселье, танцы; Виолета приколет алые маки к волосам, и ни от кого не придется выслушивать бесконечные замечания и упреки, как ни поступи, что ни скажи. Она получит наконец право читать стихи и разные книжки про любовь, не надо будет больше прятать их среди тетрадок. Даже сам Карлос не знает, что она помнит наизусть почти все его стихотворения. Она уже целый год вырезает их из журналов, закладывает между страницами учебников и перечитывает на уроках.

Несколько стихов покороче лежат у нее в молитвеннике, чудесная, дивная музыка их слов заглушает для нее голоса певчих и колокольный звон. Особенно одно стихотворение про то, как призраки монахинь во дворе бывшего монастыря среди руин танцуют в лунном свете с тенями своих возлюбленных, — за то, что любили, они приговорены, танцуя, ступать босыми ногами по битому стеклу. Читая эти строки, Виолета вся дрожит, и пламя свечей на алтаре расплывается

в ее глазах, полных слез.

Когда-нибудь она тоже, как те монахини, в уплату за счастье будет танцевать на осколках стекла. Но с чего начать? Сколько себя помнит, она всегда летними вечерами смирно сидела рядом с маменькой в этой самой комнате на этом самом пуфе. Так успокоительно было сознавать, что от нее ничего другого и не требуется, как слушаться маменьку и быть хорошей девочкой. На досуге можно было мечтать о жизни, то есть о будущем. Ведь все прекрасное и неожиданное должно, конечно, наступить позднее, когда Виолета догонит ростом Бьянку и сможет из монастыря вернуться домой насовсем. К тому времени Виолета станет дивной красавицей (Бьянка рядом с ней покажется совершенно бесцветной) и будет танцевать с красавцами кавалерами вроде тех, что утром по воскресеньям проезжают, гарцуя, по солнечной улице на променад в парке Чапультепек. Она выйдет на балкон в голубом платье, и все станут спрашивать, кто эта прелестная синьорита? А Карлос, Карлос! Он, наконец, поймет, что она читала и всегда любила его стихи.

Босые монахини танцуют под луной
По битому стеклу на мостовой.

Это стихотворение ей нравится больше всего. Ей кажется, что оно написано специально для нее. И даже более того, она сама — одна из тех монахинь, всех моложе и всех любимее, безмолвная тень, вечно танцующая в лунном свете под трепетные звуки старинных скрипок.

Маменька разогнула затекшее колено, и Виолетина голова утратила опору. Виолета чуть не упала. Она выпрямилась, боясь, как бы другие не догадались, почему она спрятала лицо у матери в коленях. Но никто ничего не заподозрил. Маменька любит читать ей нравоучения. В такие минуты становится ясно, что ее любимая дочь — Бьянка. А Виолете: «Не носись, пожалуйста, так по дому», «Волосы надо зачесывать глаже», «Что такое — я слышала, ты пользуешься пудрой своей сестры?»

Бьянка слушает молча и глядит на сестру со спокойным высокомерием. А каково это Виолете, ведь она знает, что Бьянкино преимущество только в том и заключается, что ей позволено пудриться и душиться, а она вон как важничает. И Карлос тоже, раньше он приносил ей с базара засахаренные лаймы и длинные косицы сушеной дыни и называл ее «моя милая забавная скромница Виолета», а теперь просто в упор ее не видит.

Иногда ей хочется плакать, громко, горько, чтобы все слышали. Но о чем? И как будешь объяснять маменьке? Она непременно скажет: «О чем тебе плакать? И потом, ты должна считаться с чувствами других в этом доме и держать себя в руках».

А папенька скажет: «Над тобой надо хорошенько поработать». Это у него означает «отшлепать». Он строго скажет маменьке: «На мой взгляд, ее моральный облик нуждается в улучшении». У них с маменькой сказочное взаимопонимание. Маменька всегда смотрит на папеньку ясным взором и отвечает: «Вы правы. Я займусь этим». И обращается с Виолетой просто жестоко. А папенька говорит дочерям: «Если ваша мать сердится на вас, вина тут во всех без исключения случаях — ваша. Так что смотрите у меня».

Но маменька сердится недолго. А потом так приятно опять пристроиться у нее под боком, зарыться лицом ей в плечо и вдыхать аромат жестких надушенных завитушек у нее на затылке. Но пока сердита, она смотрит на тебя с недоумением, как будто в первый раз видит. И может сказать: «Ты моя самая большая проблема». Виолете часто случалось быть проблемой. Это довольно унизительно.

— Ay de mi![1] — Виолета шумно вздохнула и села прямо. Ей хочется потянуться и зевнуть — не потому что клонит ко сну, а потому что у нее внутри что-то как бы заключено в слишком тесную клетку и трудно дышать. Вроде тех несчастных попугаев на рынке, которых запихивают по нескольку в маленькую проволочную клетушку, и они выпирают между прутьями и едва дышат, пока не появится кто-нибудь, кто их выручит.

Церковь — это страшная клетка; хоть и огромная, Виолете она тесна. «Ах, я всегда смеюсь, чтобы не заплакать!» Глупая присказка, Карлос ее постоянно повторяет. Сквозь прищуренные ресницы лицо Карлоса вдруг показалось Виолете бледным и размякшим, словно в слезах. Ах, Карлос! Да только он ведь ни о чем никогда не заплачет. А вот Виолетины глаза, с испугом почувствовала она, наполняются слезами, сейчас они перельются через край и потекут по щекам, и помешать этому не в ее власти. Она свесила голову, почти коснулась подбородком ключицы. Куда подевался ее платок? Большой, белый, льняной платок, совсем как у мальчишек. Вот ужас-то! Накрахмаленный угол царапает веко. Виолета

[1] Примечания: 1

Испанское восклицание, вроде «Ах ты, Господи!» *(Здесь и далее примеч. переводчиков).*

иногда плачет в церкви, когда музыка особенно горестно завывает, а девицы с закрытыми лицами сидят и молчат, только щелкают четки у них в пальцах. Они все ей тогда чужие; что, если бы они знали, о чем она думает? Предположим, она бы сказала вслух: «Я люблю Карлоса!» От одной этой мысли она вся залилась краской, на лбу выступил пот, покраснели даже пальцы. Она сразу принялась горячо молиться: «О, Мария! О, Мария! Царица Матерь милосердия!» А в глубине души, подсознательно, мысли ее бежали в другом направлении: «Боже милостивый! Это моя тайна, наша общая с Тобой тайна, Господи. Я умру, если кто-нибудь об этом узнает!»

Виолета снова повернула голову и посмотрела на парочку за большим столом. Как раз в этот миг шелковая шаль, еле заметно вначале, заскользила вниз с Бьянкиного плеча. У Виолеты на коже напряглись и зашевелились болезненные мурашки, и стало невыносимо больно, когда Карлос протянул руку, поймал своими длинными пальцами конец бахромы и, грациозно изогнув запястье, перебросил обратно через Бьянкино плечо. Шаль не упала, Бьянка прикусила губу, запнулась и с улыбкой начала строку сызнова.

Наблюдать это было выше Виолетиных сил.

Нет, нет! Ей захотелось крепко прижать ладони к груди, чтобы хоть как-то унять медлительную, жгучую боль в сердце. Боль была как кувшинчик с пламенем, которое невозможно загасить. Как жестоко со стороны Бьянки и Карлоса: сидят, оба такие довольные, и читают стихи, а о ней даже ни разу не вспомнят! Хотя что она могла бы им сказать, оглянись они вдруг на нее? Но они не оглянулись.

Бьянка встала.

— Эти старые стихи мне надоели. Они слишком унылые. Что бы нам еще почитать?

— Давай почитаем веселые современные стихи, — предложил Карлос. Его стихи как раз пользуются славой чрезвычайно веселых и современных. Сам он, к Виолетиному негодованию, называет их забавными. Конечно в шутку. Это он так притворяется, старается скрыть свою печаль.

— Прочитай мне еще раз все свое новое.

Бьянка всегда делает вид, будто очень ценит его стихи. Разговаривает с ним, а в голосе слышится сладкий призвук, словно сочится струйка патоки. Но Карлосу хоть бы что. Он вообще относится к Бьянке немного свысока. Хотя Бьянка этого не чувствует, потому что на самом деле ее заботит только, хорошо ли у нее уложены волосы

и находят ли люди ее красивой. Виолету так и подмывает состроить ей насмешливую гримасу: подумаешь, застыла в дурацкой позе, возвышаясь над столом.

Ее лицо над красным шелковым абажуром не кажется сейчас таким бесцветным, как обычно. От тонкого носа и поджатых губ на щеки падают тени. Бьянка боится выглядеть бледной, поэтому, читая, трет себе двумя пальцами то одну щеку, то другую, чтобы кожа разгорелась темно-красным румянцем. И так часами, описывая круг за кругом. Виолете прямо кричать хочется. Почему вот маменька не делает ей замечания? Разве это хорошие манеры?

Карлос отвечает:

— Новых у меня при себе нет.

— Ну, тогда давай старые, — весело соглашается Бьянка.

И отходит к книжным полкам, Карлос — рядом. Ищут и не могут найти его книгу. Их пальцы соприкасаются, перебирая корешки. Доверительный полушепот больно ранит Виолету. Они связаны восхитительной тайной, а Виолета оказывается ни при чем. Она говорит:

— Карлос, если тебе нужна твоя книга, могу тебе ее найти.

Собственный голос успокаивает ее, придает твердости и уверенности. Обращаясь к Карлосу, она дает понять, что это Бьянка тут ни при чем.

Оба оборачиваются к ней без особого интереса.

— Ну, и где же она, дитя? — У Карлоса в голосе, когда он не читает стихи, всегда слышится надменный холодок, а глаза смотрят проницательно, кажется, ему видны все твои недостатки. Виолета вспоминает про свои сандалии и тянет вниз подол. Как она ненавидит Бьянкины узкие серые атласные лодочки!

— У меня. Уже целую неделю.

Она смотрит на кончик носа Бьянки и надеется: они поймут то, что ей на самом деле хотелось сказать — уж кто-кто, а она-то вправду дорожит его книгой.

Не очень грациозно она подымается с пуфа и выходит, подражая Бьянкиной взрослой походке и стараясь не думать про свои проклятые длинные, прямые ноги и чулки в резинку.

— Я тебе помогу искать! — вдогонку окликает ее Карлос, словно ему в голову вдруг пришла занятная мысль, и идет следом. Из-за его настигающего плеча Виолета видит лицо Бьянки, немое и отчужденное, как у огорченной куклы. Глаза Карлоса огромные, на губах застыла улыбка.

Виолете хочется убежать. Он что-то тихо говорит, но что, она не поняла. И куда-то делся шнур, за который дергают, чтобы зажегся свет в узком, темном коридоре. Ее страшат мягкие шлепки резиновых подошв за спиной. Они с Карлосом молча проходят через прохладную столовую, где пахнет фруктами, пролежавшими весь день в закрытом помещении. Застекленную веранду над дверью во внутренний двор заливает лунный свет такой яркости, что после затененной внутренности дома он кажется даже теплым. Виолета перебирает книги, наваленные грудой на столике, но надписи на обложках видны плохо, руки дрожат и пальцы не слушаются.

Рука Карлоса поднимается, описывает в воздухе кривую и крепко обхватывает ее запястье. Округлая, гладкая щека и светлая бровь нависли над нею; пошли вниз; рот коснулся ее рта, легонько чмокнул. Она, кажется, вырывается, изворачивается, как будто ее что-то с силой отталкивает. И в это мгновение его ладонь ложится на ее губы, мягкая, теплая, а глаза, до ужаса близкие, смотрят прямо в лицо. Виолета, тоже широко распахнув глаза, смотрит на него снизу вверх, готовая утонуть в ласковом, теплом взгляде, нежном, как прикосновение его ладони. Но вместо этого вдруг

ощущает резкий, болезненный толчок, словно наткнулась в темноте на стул. Глаза Карлоса плоско блестят, почти как у комнатного попугая Пепе, брови, светлые, пушистые, выгнуты, губы растянуты в напряженной улыбке. У Виолеты в животе пульсирует боль, как всегда, когда ее призывает для объяснения мать-настоятельница. Виолета страшно провинилась. Сердце у нее сильно колотится, она почти теряет сознание. Из последних сил ужасно вдруг разозлившись, она резким рывком отвернула голову.

— Убери руку от моего рта!

— Тогда веди себя тихо, глупышка!

Удивительные слова, но еще удивительнее тон, которым они сказаны, будто у Виолеты с ним какой-то общий стыдный секрет. Ее обдало холодом, так что даже заклацали зубы.

— Я скажу маменьке! Как тебе не стыдно меня целовать!

— Глупости. Я просто чуть чмокнул тебя по-братски, как Бьянку.

— Бьянку ты не целуешь. Я слышала, она говорила маменьке, что никогда еще не целовалась с мужчиной.

— А со мной — другое дело. Я целую ее как двоюродный брат, только и всего. Это не считается. Мы

же родные, разве нет, Виолета? А ты что думала?

Ах, как она ужасно ошиблась! Она чувствует, что краснеет, у нее даже лоб горит. И дыханье перехватило. Но надо ведь объяснить.

— Я… я думала… что когда целуют, это… это…

Она не может договорить.

— Ах ты, малышка, ну, прямо новорожденный теленочек, — говорит Карлос. Голос у него странно дрожит. — Ты и пахнешь, как милый младенец, только что вымытой детским мылом. Подумать только, младенца рассердил братский поцелуй. Как тебе не стыдно, Виолета!

Позор. Она видит себя перед ним, словно его лицо — зеркало. Рот слишком большой, лицо круглое, как луна, волосы стянуты в безобразные монастырские косицы.

— Прости! — шепчет она.

— За что? — в его голосе снова звучит язвительное высокомерие. — Ну, так где же книга?

— Н-не знаю, — лепечет Виолета, изо всех сил стараясь не заплакать.

— Что ж, тогда пошли назад, не то маменька тебя заругает.

— Нет, нет. Я не могу! Бьянка увидит. Маменька станет расспрашивать. Я хочу остаться здесь. Я хочу убежать из дому — хочу покончить с собой!

— Что за глупости, — рассердился Карлос. — Сейчас же идем обратно. А чего ты, интересно, ожидала, когда одна пошла сюда со мной?

Повернулся и зашагал назад. Она позорно, немыслимо, ошиблась. Вела себя неприлично. Это — правда, хоть и трудно поверить; горькая правда или страшный сон, который длится, длится, и никто не слышит, как ты зовешь, чтобы тебя разбудили. Виолета двинулась следом, стараясь выше держать голову.

Маменька клюет носом, мелко-курчавые волосы в замысловатой прическе поблескивают, подбородок касается белого воротника. Бьянка сидит в глубоком кресле, точно каменная, на коленях у нее — серая с золотом книжица. Злые глаза бросают на Виолету взгляд, точно удар хлыста, тут же убравшегося назад, а зрачки вдруг стали блестящими и пустыми, как у Карлоса.

Виолета подгибает длинные ноги и садится на свой пуф, уставившись взглядом перед собой на ковер, чтобы никому не были видны ее покрасневшие глаза. Страшно подумать, какие жестокие истины о человеке могут выдать глаза.

— Книгу я нашла здесь, где ей и следовало быть, — сказал Бьянка. — Но я устала. И время позднее. Больше читать не будем.

Теперь Виолета и всерьез готова расплакаться. Книгу разыскала Бьянка, это последний удар. Поцелуй ничего не значил, Карлос пошел обратно, а о ней и думать забыл. И ко всему этому еще примешались белые реки лунного света, и аромат теплых фруктов, и влажный холодок на губах, и легонький чмок. Виолета дрожит и клонится все ниже и ниже, покуда не касается лбом материнских колен. Она теперь никогда-никогда не сможет поднять головы.

Тихие голоса о чем-то спорят; тонко звенят в воздухе натянутые струны.

— Но я не хочу больше читать, говорю тебе.

— Что ж, прекрасно. Тогда я немедленно ухожу. Но в среду я уезжаю в Париж и уже не увижу тебя до осени.

— На тебя похоже вот так уехать, даже не заглянув попрощаться.

Пусть и ссорясь, они все-таки говорят друг с другом как два взрослых человека, связанные общей тайной. Шлепки его мягких резиновых подошв приближаются.

— Доброй ночи, моя дорогая донья Пас. Я провел у вас восхитительный вечер.

Маменькины колени зашевелились, она собирается встать.

— Смотри-ка! Ты что, уснула, Виолета? Надеемся часто получать от тебя весточки, племянничек. Твои двоюродные сестрички и я будем по тебе скучать.

Маменька словно и не дремала только что. Она улыбается, берет Карлоса за обе руки. Поцеловались. Карлос нагибается к Бьянке, хочет поцеловать ее. Бьянка окутывает его складками серой шали, но под прощальный поцелуй подставляет щеку. Виолета поднимается на дрожащих ногах. Она поворачивает голову из стороны в сторону, чтобы уклониться от приближающихся птичьих глаз, от растянутых в улыбке губ, готовых упасть сверху. Когда он прикоснулся к ней, она на мгновенье замерла, потом попятилась к стене. И услышала собственный неудержимый крик.

Маменька сидит на краю кровати и рукой с выгнутыми пальцами похлопывает Виолету по щеке. Ее ладонь теплая и нежная, и взгляд тоже. Виолета всхлипнула и отвернулась.

— Я объяснила твоему папеньке, что ты поссорилась с кузеном Карлосом и была с ним очень груба. Папенька говорит, что над тобой надо хорошенько поработать.

Маменькин голос звучит мягко, успокаивающе. Виолета лежит без подушки, сборчатый

ворот ночной рубашки закрывает подбородок. Она ничего не говорит в ответ. Даже шепнуть ей больно.

— На той неделе мы уезжаем за город, ты все лето проживешь в саду. И больше не будешь такой нервной. Ты ведь уже совсем взрослая барышня, надо научиться не давать воли своим нервам.

— Да, маменька.

У маменьки такое выражение лица, что просто невыносимо. Она доискивается до твоих самых тайных мыслей. А мысли эти неправильные, ими ни с кем нельзя поделиться. Все, что Виолете запомнилось за ее жизнь, теперь перемешалось и спеклось в болезненную неразбериху, и этого никому не объяснишь, потому что все смутно и не так.

Ей хочется сесть на кровати, обнять маменьку за шею и сказать: «Со мной случилось ужасное, а что, я не знаю». Но сердце замкнулось и болит, и Виолета лишь глубоко вздыхает. Даже у маменьки на груди холодно и неприютно. А кровь по жилам бежит туда-сюда и громко кричит, но когда крик уже на губах, от него остается только жалобный щенячий визг.

— И пожалуйста, больше не плачь, — после долгого молчания говорит маменька. А потом

еще: — Доброй ночи, мое бедное дитя. Эти впечатления развеются.

Маменькин поцелуй холодит щеку.

Развеялись или нет эти впечатления, о них больше не было сказано ни слова. Виолета с родными провела лето за городом. Читать стихи Карлоса она отказывалась, хоть маменька ей предлагала. И даже его писем из Парижа слушать не соглашалась. С сестрой Бьянкой она теперь ссорилась уже как ровня, их больше не разделяла особая разница в переживаниях. По временам она впадала в горькое уныние, оттого что никак не могла отыскать ответы на донимавшие ее вопросы. А иногда развлекалась тем, что рисовала уродливые карикатуры на Карлоса.

Ранней осенью ее отправили обратно в монастырскую школу, хотя она плакала и жаловалась матери, что ненавидит монастырь. Наблюдая, как привязывают к экипажу ее чемоданы, она заявила, что учиться там нечему.

Перевод И. Бернштейн

Жертва любви

Рубен, самый знаменитый мексиканский художник, был страстно влюблен в свою натурщицу Изабель, которая, со своей стороны, питала сердечную склонность к другому знаменитому живописцу, чье имя в данном случае не имеет значения.

Рубена она называла «мой Пончик», это имя мексиканцы обычно дают комнатным собачонкам. Он находил его совершенно очаровательным и говорил посетителям своей мастерской: «Представляете, она выдумала звать меня Пончиком, ха-ха!» От смеха у него тряслось под жилеткой, так как он понемногу жирел.

Высокая и худощавая, Изабель длинными, цепкими пальцами раздирала букет цветов, который он ей принес, и рассыпала лепестки по всему полу или насмешливо хохотала: «Да, да!» и ставила ему краской кляксу на кончик носа. А кое-кому довелось видеть, как она нещадно таскает его за волосы и дергает за уши.

Про серьезных любителей искусства, которые, героически пробираясь по узкой вымощенной булыжником улочке, осторожно переступая через

лужи на заднем дворе и карабкаясь по шаткой ржавой наружной лестнице, приходили поклониться великому и такому простому человеку, она громко заявляла: «Вот и бараны явились!» Они выпучивали глаза от такой бесцеремонности, а ей это нравилось.

Часто она маялась от скуки, потому что ей приходилось целыми днями стоять на одном месте, заплетая и расплетая косу, пока Рубен делал зарисовки, и ни он, ни она допоздна не спохватывались, что надо бы поесть; впрочем, все равно ей некуда было податься, покуда ее любовник, Рубенов соперник, не продаст какую-нибудь картину, все говорили, что Рубен убьет на месте того, кто попытается увести у него Изабель. Так что Изабель оставалась у него, и он сделал с нее восемнадцать разных рисунков для большого настенного панно, а она иногда стряпала для него, бранилась и показывала длинный розовый язык посетителям, которые ей не нравились. Рубен ее боготворил.

Он только приступил к девятнадцатому изображению Изабели, когда его соперник сумел-таки продать одно огромное полотно некоему богачу, которому декоратор объявил, что на одну стену в его новом доме понадобится панель в зеленых и

оранжевых тонах. По счастливому совпадению, полотно этого художника было как раз чрезвычайно зеленое и оранжевое. Богач отвалил кучу денег и был очень рад, объяснив, что задрапировать эту стену гобеленом стоило бы в шесть раз дороже. Соперник тоже был очень рад, но объяснять почему не стал. На следующий же день они с Изабель уехали в Коста-Рику, и на этом их участие в нашем рассказе кончается.

А Рубену осталась прощальная записка:

> Бедный ты Пончик! Жаль, что твоя жизнь так беспросветна и я не могу больше ее терпеть. Я уезжаю с человеком, который никогда не допустит, чтобы я на него стряпала, и создаст панно, где изобразит меня в пятидесяти видах, а не всего лишь в двадцати. А еще у меня будут красные туфельки и жизнь такая веселая, как я только пожелаю.
>
> ***Твой старый друг***
> ***Изабель.***

Читая эту записку, Рубен испытывал ощущения тонущего. Он никак не мог выдохнуть воздух и отчаянно махал руками. Потом выпил бутылку текилы без соли или лимона, которые действуют

смягчающе, повалился на пол головой в палитру со свежеразведенными красками и горько разрыдался.

После этого он стал совсем другим человеком. Говорить мог только про Изабель, про ее ангельское лицо и милые шалости и шутки. «Она бывало так испинает мне ноги, что все икры в синяках», — любовно рассказывал он, и из глаз его катились слезы. При этом он, не переставая, жевал сладкие, поджаристые пончики из пакета, всегда стоявшего рядом с мольбертом. «Представляете? — он поднимал руку с пончиком, прежде чем отправить его в рот. — Она звала меня Пончиком, как вот этот».

Все друзья радовались бегству Изабель и говорили между собой о том, как Рубену повезло, что он избавился от костлявой чертовки. Было решено, что теперь надо ему помочь забыть ее. Но отвлечь Рубена не удавалось. «Другой такой женщины нет на свете, — упрямо качал он головой. — Она ушла и унесла с собой мою жизнь. У меня не осталось духу даже для мести. — И заключал: — Говорю вам, моя бедняжка Изабель — убийца, она разбила мне сердце».

Он нервно расхаживал по мастерской, пиная суконными шлепанцами кучи рисунков, пылив-

шихся у стены, или же брался растирать краски, горестно приговаривая: «Раньше все это делала для меня она. Подумать только, как она была добра!» Но опять и опять подходил к окну и ел из пакета сладости, фрукты и миндальные пирожные. Когда друзья возили его в ресторан, он тихо сидел за столом и поедал огромные порции всевозможной пищи, запивая сладким вином. А кончалось все тем, что он, расплакавшись, начинал говорить про Изабель.

Друзья пришли к выводу, что получается глупо. Изабели уже почти полгода с ним нет, а Рубен все отказывается возобновить работу над ее девятнадцатым изображением, тем более — взяться за двадцатое; и настенное панно ни с места.

— Послушай, милый мой друг, — сказал ему Рамон, специализировавшийся на карикатурах и хорошеньких женских головках для журналов, — даже мне, хоть я и не Бог весть что за художник, довелось узнать, как могут женщины испортить мужчине работу. Говорю тебе, когда меня покинула Тринидад, я добрую неделю был ни на что не способен. Не чувствовал вкуса в пище, не различал цвета, не слышал нот. Бессовестная ночная обманщица едва не погубила меня. Но ты, амиго, должен воспрянуть духом и закончить свое вели-

кое панно во имя человечества, во имя будущего, а Изабель вспоминать, только воссылая хвалу небу, что отделался от нее.

Однако Рубен, сидя на постели и жуя засахаренный миндаль, качал головой и восклицал:

— У меня боль в сердце, которая меня убьет. Нет на свете другой такой женщины.

В один прекрасный день воротнички перестали застегиваться у него на шее. Ремень пришлось распустить на три дырочки. Рубен сам же объяснял:

— Я веду сидячий образ жизни; я больше не в состоянии двигаться. Моя энергия вся перегорела.

На нем упрямо, слой за слоем нарастало сало, тело выпирало во все стороны, он уж и сам себя не узнавал. Рамон, показывая друзьям новый карикатурный портрет Рубена, говорил:

— Его теперь можно рисовать просто циркулем. Пуговицы отскакивают от его рубашек, как выстреливают. Опасно стоять рядом.

Но Рубен по-прежнему проводил время в унылом одиночестве, постоянно что-то жевал и вечерами, после третьей бутылки красного вина, плакал по Изабель.

Друзья, посовещавшись, пришли к выводу, что положение принимает зловещий оборот; необхо-

димо растолковать ему, что это за боль у него в сердце. Но каждый норовил переложить эту задачу на другого. Выяснилось, что среди его друзей, а может быть, во всей Мексике нет никого, кто бы отважился взяться за такое деликатное дело. И решили доверить разговор университетскому врачу. У него хватит тонкости для тактичной беседы да плюс еще доскональное знание предмета. Тут нужен осторожный, дипломатичный, ответственный подход. Сказано — сделано.

Врач пришел и увидел, что Рубен сидит перед мольбертом, смотрит на девятнадцатое изображение Изабели, плачет и между рыданиями ложкой ест мягкий масляный сыр с маринованными манговыми плодами. И точно большой ком вымешанного теста, свисает во все стороны с табурета. Начал он с того, что рассказал врачу про Изабель:

— Уверяю вас, уж можете мне поверить, друг мой, даже я не способен был передать в масле красоту изгиба ее бедра и подъема. И притом она была ангел доброты.

Только после этого он объяснил про боль в сердце, которая его убьет.

Врач был чрезвычайно растроган. Он долго еще сидел у Рубена, высказывая утешительные

мысли, но не отваживаясь предложить практическую врачебную помощь человеку такой тонкой, чувствительной организации.

— Я располагаю лишь грубыми, вульгарными средствами лечения, — и грациозно, щепотью как бы, протянул их Рубену. — Но это — все, что мир плоти может предложить для исцеления больного духа.

Он перечислил их одно за другим. Получился аккуратный, но не особенно впечатляющий список: диета, свежий воздух, продолжительные пешие прогулки, постоянные физические нагрузки, желательно в виде упражнений на турнике, ледяной душ и почти полный отказ от вина.

Рубен словно не слышал. Он продолжал, как сквозь сон, бормотать свое, и горячие его жалобы лились параллельно с учеными рассуждениями специалиста:

— Боли особенно невыносимы по ночам, когда я лежу в одинокой постели и сквозь узкое окно смотрю на пустые небеса, и тогда я говорю себе: «Скоро я буду лежать в могиле, еще более узкой, чем это окно, более темной, чем это небо», и сердце у меня болезненно сжимается. Ах, Изабелита, палач мой!

Врач на цыпочках уважительно удалился,

оставив пациента есть ложками масляный сыр и взирать сквозь слезы на девятнадцатое изображение Изабели.

Друзьям это надоело, и они, изверившись, стали все чаще оставлять его одного. Несколько недель его никто не видел, кроме хозяина небольшого кафе под названием «Мартышки», в котором Рубен раньше часто обедал с Изабелью и куда он теперь ходил поесть один.

Там он однажды вдруг схватился за сердце и поднялся из-за стола, перевернув стоявшую перед ним тарелку с мамалыгой по-мексикански под острым перечным соусом. Хозяин подбежал, Рубен ему что-то второпях шепнул, картинно вскинул руку над головой и, мягко выражаясь, скончался.

На следующее же утро друзья кинулись к хозяину кафе, и тот описал им это горестное событие в возвышенно драматических тона. Рамон уже тогда собирал материалы для жизнеописания самого выдающегося художника страны, который был ему, конечно, самым близким другом. Иллюстрировать свое сочинение он намеревался большим количеством собственных портретных зарисовок. У него и посвящение было уже готово: «Другу и учителю, вдохновенному и несравнен-

ному Гению искусства на всем Американском континенте».

— Но что он сказал вам в последнее трагическое мгновение? — наседал Рамон на ресторатора. — Это чрезвычайно важно. Последние слова великих людей всегда бывают очень красноречивы. Приведите их дословно, добрый человек! Они украсят историю его жизни, да нет, историю всего искусства, если они действительно были красноречивы.

Хозяин кивнул в знак того, что ему все ясно.

— Знаю, знаю. Поверите ли, если я скажу, что его последние слова были возвышенным обращением к вам, его добрым и верным друзьям, и ко всему человечеству. Вот что он вымолвил перед смертью, господа. «Скажи им, что я — жертва любви. Я погибаю во имя ее, потому что любовь стоит жертвы. Я умираю от разбитого сердца!» А потом еще добавил: «Изабелита, ты — мой палач!» И это все, господа, — заключил ресторатор просто и прочувствованно. И склонил голову. Все присутствующие тоже склонили головы.

— Да, действительно, звучит великолепно, — подтвердил Рамон после надлежащей минуты скорбного молчания. — Спасибо. Превосходная эпитафия. Я вполне удовлетворен.

— А еще он очень любил мою мамалыгу по-мексикански под перечным соусом, — скромно сказал хозяин кафе. — Она была его последней радостью в жизни.

— И это тоже будет отмечено в надлежащем месте, можете не беспокоиться, мой друг! — воскликнул Рамон голосом, срывающимся от избытка благородных чувств. — Вместе с названием вашего кафе. Оно станет местом паломничества художников, когда моя работа увидит свет. Можете на меня положиться, я сохраню для потомства все мельчайшие подробности жизни и свойства характера нашего великого гения. Каждый эпизод представляет свой особый, исключительный и священный интерес. Да, конечно, про мамалыгу по-мексикански я тоже напишу.

Перевод И. Бернштейн

Колдовство

Ах, мадам Бланшар, поверьте, я так счастлива, что попала в ваш дом, к вам и вашей семье, у вас жизнь такая мирная, и вообще. До этого-то я долго работала в салоне грез — вы, поди, и не знаете, что это такое, салон грез… А-а, ну да, конечно, что-то вы не могли не слышать. А я, мадам, всегда берусь работать, если где есть работа, вот и там я тоже трудилась на совесть и столько всего навидалась, вы бы не поверили, да я бы и не стала вам никогда рассказывать, разве вот только, чтобы вы тихо сидели, пока я вас причесываю. Вы, конечно, извините, но я случайно слышала, как вы говорили прачке, что, мол, не иначе как кто-то навел порчу на ваше белье, оно в стирке так и расползается. Ну и вот, у нас в салоне была одна девушка, худенькая такая, бедняжка, хотя мужчинам нравилась, клиентам то есть, но понимаете, она не ладила с особой, которая вела дело. Они разругались из-за того, что мадам обсчитывала ее на жетонах: девушки каждый раз получают жетон, знаете, медный такой, и в конце недели сдают обратно мадам, да, такой порядок, и получают небольшой процент, совсем, можно

сказать, крохотный, от своих заработков — вы понимаете, это бизнес, как и всякий другой. Но мадам норовила ее обсчитать, заявляла, что она сдала столько-то жетонов, хотя на самом деле она сдала много больше, но раз выпустила из рук, поди теперь доказывай. Она стала говорить, я, мол, уйду отсюда, бранилась и плакала. А мадам била ее по голове, она всегда била по голове бутылкой, такой у нее был прием. Боже милосердный, мадам Бланшар, что там иной раз делалось! Девушка, рыдая, бросается вниз по лестнице, а хозяйка тянет ее за волосы назад и разбивает об ее лоб бутылку.

И почти всегда это из-за денег, девушки у нее оказывались по уши в долгу, и если надумают уйти, извольте сначала вернуть все до последнего су. У мадам с полицейскими полное взаимопонимание, они приводят ей девушек обратно, а нет, тогда пожалуйте в тюрьму. Так что они всегда возвращаются, либо полицейский их доставляет, либо еще какой-нибудь хозяйкин друг закадычный. Она и мужчин тоже заставляет на себя работать, но только им она щедро за все услуги платит, уж поверьте мне. Так что девушки от нее не могут уйти, разве если заболеют, а уж тогда, больных, она сама прогоняет.

— Вы эту прядь чересчур затянули, — говорит мадам Бланшар и, освободив немного волосы, спрашивает: — Ну, и что же дальше?

— Пардон. Так я про эту девушку. Между ней и хозяйкой была прямо ненависть. Она постоянно говорила: «Я зарабатываю больше всех в этом салоне». Каждую неделю — скандал. И вот однажды утром она объявляет: «Я ухожу из этого заведения! — и достает из-под подушки сорок долларов. — Вот, возьмите ваши деньги!» Мадам в крик: «Ты откуда их взяла, такая-растакая?» И обвинила ее в том, что она обворовывала своих посетителей. Девушка — ей: «А ну, уберите свои руки, не то я вам голову проломлю». Тут хозяйка хватает ее за плечи, подымает ногу и бьет изо всех сил ногой в живот и даже ниже, в самое чувствительное место, мадам Бланшар, представляете? А потом еще бутылкой по лицу. Девушка валится на спину прямо в свою комнату, где я как раз убиралась. Я усадила ее на кровать, и она сидит, голову свесила, держится за бока. А когда встала, под ней постель вся в крови. Мадам тут как тут и орет: «Теперь можешь убираться, такая ты мне больше не нужна!» Я вам не все слова ее передаю, вы понимаете, это уж было бы слишком. Но деньги она, сколько нашла, все забрала и пин-

ком под зад эту девушку из дома вышвырнула, та вылетела на улицу, поднялась на ноги и пошла прочь в чем была — в одном платьице.

Но после этого мужчины, которые знали эту девушку, справлялись: «А где Нинетта?» Время шло, а они все спрашивали, и мадам уже не могла больше отвечать, что, мол, она ее выгнала за воровство. Она поняла, что поступила нерасчетливо, выгнав Нинетту, и стала отвечать: «Не беспокойтесь, пожалуйста, она скоро вернется».

А дальше, мадам Бланшар, если хотите слушать, я подхожу к удивительным вещам, про которые я вспомнила, когда вы сказали, что, мол, на ваше белье навели порчу. Там у них была кухарка, цветная, как и я, и тоже с большой примесью французской крови, она всегда жила, как и я, среди людей, которые занимаются колдовством. Но у нее было очень злое сердце, она во всем помогала хозяйке и любила совать нос во все, что бы там у них ни происходило, и на девушек наговаривала. Мадам ей доверяла, как никому на свете. И вот она спрашивает: «Где бы мне найти эту дрянь?» Потому что та успела вообще перебраться в другой район, прежде чем мадам надумала обратиться в полицию. Ну, кухарка отвечает: «Я знаю одно колдовство,

оно действует здесь, в Новом Орлеане, цветные женщины так возвращают своих мужчин, ровно через неделю те приходят домой как ни в чем не бывало, рады-радехоньки, а почему, сами не знают; даже злого врага можно к себе возвратить, и он будет думать, что ты ему лучший друг. Правда это, конечно, только новоорлеанское колдовство, говорят, за рекой оно уже не действует»… Ну и вот. Они сделали все, как сказала кухарка. Взяли ночную вазу из-под кровати той девушки, налили воды и молока и покидали туда всего, что от нее там еще оставалось: волоски из ее гребня, и пудру с пуховки, и даже обрезки ногтей набрали с края коврика, на котором она всегда сидела, когда подстригала ногти на руках и на ногах; и еще добавили воду, в которой вымачивали простыни с ее кровью, и все это время кухарка тихо причитала какие-то свои заклинания; что уж она бормотала, я не разобрала. Под конец она велела хозяйке плюнуть в горшок. Хозяйка плюнула, а кухарка говорит: «Когда она возвратится, будет как пыль у вас под ногами».

Мадам Бланшар звякнула пробкой о флакон с духами:

— Ну и что же?

— А то, что через семь дней эта девушка вернулась больная, одетая во все прежнее и рада-радехонька, что снова здесь. Один клиент ее приветствовал: «С возвращением домой, Нинетта!» А когда она обратилась к хозяйке, та ей сказала: «Цыц! Живо наверх переодеваться!» Та девушка, Нинетта то есть, ответила: «Через две минуты спущусь». И с той поры жила там тише воды, ниже травы.

Перевод И. Бернштейн

Иудино дерево в цвету

Браджиони сидит перед Лаурой на краю кресла с прямой спинкой, глубже он не помещается, и хриплым, унылым голосом поет. Лаура теперь старается как можно позже приходить домой: Браджиони ждет ее там почти каждый вечер. Сидит, как бы поздно она ни возвращалась, хмурый, заждавшийся, теребит свои курчавые рыжие патлы и, цепляя большим пальцем за струны, вполголоса рычит какой-нибудь мотив. Лупе, индианка-прислуга, встречает Лауру у порога и говорит, бросив взгляд на лестницу, ведущую в верхнюю комнату: «Ждет».

Лауре хочется лечь, ее измучили шпильки в волосах и стягивающие руку длинные, тесные рукава, но она задает вопрос: «Есть у тебя сегодня для меня новая песня?» Если ответ — «Да», она просит его спеть. Если «Нет», она вспоминает его любимую из прежних и просит спеть ее. Лупе приносит ей чашку шоколада и тарелку риса, и Лаура ест за маленьким столиком под лампой, предварительно пригласив Браджиони присоединиться, на что он неизменно отвечает: «Я сыт. К тому же шоколад грубит голос».

Лаура говорит: «Тогда пой», — и Браджиони впрягается в песню. Он поет упоенно и фальшиво, по-свойски пошлепывая по струнам, точно поглаживая кота, а высокие ноты тянет визгливым тремоло. Лаура каждый день слушает на рынках исполнителей народных баллад да еще обязательно останавливается на углу улицы Шестнадцатого сентября, где играет на свирели слепой парень, но Браджиони она слушает с каменной вежливостью, не отваживаясь ухмыльнуться над его беспомощным исполнением. Над ним никто не отваживается усмехаться. Браджиони беспощаден и нагл со всеми, но так тщеславен и так чутко улавливает малейшую насмешку, потребовалось бы еще больше беспощадности и наглости, чем у него, чтобы ткнуть пальцем в огромную неисцелимую рану его самолюбия. И еще для этого нужно бесстрашие, так как оскорбить его опасно, и на это бесстрашия не хватает ни у кого.

Браджиони любит себя так нежно, с таким размахом и всепрощением, что его последователи — ибо он вождь народа и опытный революционер, и грудь его пробита в героических схватках — говорят между собой, греясь в отраженных лучах его огня: «Он воистину благородный чело-

век, и его любовь к человечеству сильнее всяких личных привязанностей». Избыток его любви перелился через край на Лауру, к большому ее неудобству, поскольку она, как и многие другие, устроилась здесь и получает жалование благодаря ему. В хорошем настроении он говорит ей: «Я склонен простить тебе, что ты — гринга, гринга!» — а Лаура в ярости представляет себе, как она сейчас наклонится и хорошей пощечиной сотрет с его лица сальную улыбочку. Если он и замечает в такие минуты, как она на него смотрит, то виду, во всяком случае, не подает.

Она знает, что хочет Браджиони ей предложить, и должна этому упорно сопротивляться, но так, чтобы сопротивление было ему незаметно. И, по возможности, даже самой себе не признаваться, что понимает, к чему он клонит. По вечерам, которые отравили ей весь месяц, она часами просиживает в глубоком кресле с открытой книгой на коленях, покоя взгляд на ровных рядах типографских знаков, в то время как вид и звук поющего Браджиони вызывают в ее памяти все прошлые беды и добавляют весу дурным предчувствиям будущего. Жирный, жадный Браджиони стал для нее символом многих разочарований. Она-то думала, что революционеру положено

быть худым, гореть огнем героических убеждений, служить воплощением возвышенных идеалов. Конечно, все это вздор, теперь она понимает, самой стыдно. Революции нужны вожди, а в вожди годятся лишь энергичные люди. Товарищи говорят ей, что она полна романтических фантазий, то, что видится ей в них как цинизм, — просто-напросто «развитое чувство реальности». Она уже и рада бы сказать: «Я признаю, что не права, должно быть, я неверно понимаю основы». Она заключает с собой тайное перемирие, но не сдается, не желает уступать этой удобной логике. От несоответствия между тем, как она вынуждена жить, и какой, по ее представлениям, должна быть жизнь на самом деле, она страдает, чувствует себя преданной и то находит утешение в этом страдании, то мечтает вырваться и уехать, но, впрочем, остается. А сейчас ей просто ужасно хочется выбежать из этой комнаты, скатиться по узкой лестнице и очутиться на улице, где дома, точно заговорщики, жмутся друг к дружке под одиноким заляпанным фонарем.

Вместо этого она обращает на Браджиони ясный, открытый взгляд послушного ребенка, усвоившего правила хорошего поведения. Ее колени под прочной синей саржей плотно сжаты,

круглый белый воротник напоминает монашеский, но это получилось не сознательно. Она носит униформу передовой идеи и не обращает внимания на пошлые мелочи. Родилась она католичкой и до сих пор, хоть и опасается, как бы ее не заметили и не подняли шум, все же иногда заглядывает украдкой в какую-нибудь ветхую церквушку, преклоняет колени на холодный камень и, перебирая золотые четки, купленные в Техуантепеке, читает «Богородица Дево радуйся». Это не помогает, и она в конце концов принимается рассматривать украшения на алтаре — цветы из фольги, истрепанное шитье, умиляется кукольным фигуркам святых мучеников, чьи босые ступни в белых кружевных кальсончиках выглядывают из-под торжественного бархатного облачения. У нее сохранились пристрастия, усвоенные еще в отрочестве, ими диктуются ее жесты и вкусы. Поэтому, например, она не носит машинных кружев. Это ее тайная ересь, так как у них в группе считается, что машины — святое, они принесут спасение рабочим. Но она любит тонкие кружева, вот и сейчас ее белый монашеский воротник обшит еле заметными уголками кружевной паутинки, и у нее в верхнем ящике комода таких хранится еще девятнадцать штук,

завернутых в синюю оберточную бумажку.

Браджиони перехватывает ее взгляд, словно только того и ждал, и весь подавшись вперед, так что толстое брюхо ложится между расставленными коленями, поет с особым выражением, нажимая на слова. Нет у него ни матери, ни отца, говорится в песне, нет даже друга, чтобы его утешить; одинокий, как волна в океане, он то здесь, то там, одинокий, как волна. Круглое отверстие рта скашивается на сторону, надутые щеки лоснятся потом певческого труда. Он чудно выпирает во все стороны из своей дорогой одежды. Шея выпучивается над сиреневым воротничком и темно-красным галстуком с алмазным зажимом; бока и живот вываливаются из тисненной кожаной портупеи в серебряных разводах, затянутой так туго, что он едва дышит; и даже над лакированными желтыми туфлями пучится перезрелая плоть Браджиони, растягивая шелковые лиловые носки и нависая лодыжками над твердыми кожаными языками.

Когда он скашивает на Лауру глаза, она снова убеждается, что они у него действительно желтые, как у кошки. Он богат, как он объяснял Лауре, но не деньгами, а властью, власть же позволяет ему владеть вещами и свободно предаваться сво-

ей любви к мелкому роскошеству. «Мне нравятся элегантные мелочи, как-то сказал он и помахал у нее перед носом желтым шелковым носовым платком. — Вот понюхай. Духи „Жокейский клуб“, нью-йоркские. — Но все-таки жизнь его не пощадила. Сейчас он сам это скажет: — Н-да, в руках все обращается в прах, а на языке становится желчью. — Он вздыхает, и его кожаный ремень скрипит, как седельная подпруга. — Одно за другим, я во всем разочаровываюсь. Ну, прямо во всем. — Он качает головой. — И ты, моя бедняжка, тоже разочаруешься. Это тебе на роду написано. Кое в чем мы с тобой так похожи, что ты и представить себе не можешь. Подожди. Вот увидишь. В один прекрасный день ты вспомнишь, что я тебе говорил, и поймешь, что Браджиони был тебе другом».

Лаура холодеет, в крови у нее живет физическое предчувствие беды: ее ждет насилие, увечье, страшная смерть. Этот метафизический страх она переосмыслила как нечто бытовое, обыденное и стала бояться переходить через улицу. «Моя личная судьба — это только мое умонастроение», — напомнила она себе цитату из старого учебника по философии. Но все-таки у нее хватает здравого рассудка заключить: «Так или иначе,

но под автомобиль попадать я не собираюсь».

Возможно, что я на свой лад так же развращена, как Браджиони, допускает она, так же бессердечна и беспринципна, в таком случае любая смерть предпочтительнее. Однако она не убегает, а все так же смирно сидит на месте. Куда ей идти? Она без приглашения навязалась сюда и теперь не может даже представить себе жизни в другой стране, и вспоминать свою прежнюю жизнь, до Мексики, ей тоже не доставляет удовольствия.

Какова природа этой преданности, каковы ее подлинные корни и обязательства? Лаура не знает. Половину времени она проводит в соседнем Хочимилко, учит индейских детей говорить по-английски: «Де кэт из он де мэт». Когда она входит в класс, они окружают ее с улыбками на своих умудренных, простодушных лицах цвета глины, кричат безгрешными голосами: «Гуд монинг, май тычер!» и каждое утро превращают ее учительский стол в цветник.

В свободное время она ходит на собрания и слушает, как ответственные люди спорят о тактике, методах, внутренней политике. А также посещает заключенных, принадлежащих к ее политической вере, которые у себя в камерах развлекаются тем, что считают тараканов, раска-

иваются в содеянном, пишут мемуары, сочиняют манифесты и планы дальнейших действий для товарищей, которые еще ходят на свободе, засунув руки в карманы, и дышат свежим воздухом. Лаура передает им еду, сигареты и немножко денег, а также замаскированные в двусмысленных фразах сообщения от тех, кто находятся на воле, но боятся сами войти в стены тюрьмы, чтобы не очутиться в камерах, там для них приготовленных. Если узники перестают отличать ночь от дня и жалуются: «Милая Лаура, в этой чертовой дыре время не движется, и я не знаю, когда ложиться спать, пока не получу напоминания», — она приносит их излюбленные наркотики и говорит спокойным тоном, чтобы не ранить их жалостью: «Нынче у тебя ночь будет полноценная», и хотя ее испанская речь их смешит, они считают ее посещения полезными и приятными. Если они теряют терпение, приходят в отчаяние и начинают проклинать товарищей за то, что так долго не вызволяют их с помощью денег и связей, они при этом все-таки знают, что она их речи дословно не передаст, а когда она их спрашивает: «Откуда, по-твоему, нам взять денег и связей?» — они обязательно ответят: «Ведь есть же Браджиони, почему он не предпримет чего-нибудь?»

Она доставляет письма из штаба тем, кто прячется от расстрельных команд в ветхих строениях где-нибудь на задворках и, сидя там на неубранных постелях, рассуждает так, словно их выслеживает вся Мексика, хотя Лауре определенно известно, что они могут спокойно явиться в воскресенье на утренний симфонический концерт в «Аламеде» и ни одна живая душа не обратит на них внимания. Но Браджиони говорит: «Пусть попотеют немного. В другой раз будут осторожнее. Без них хоть можно дух перевести, пока их держут взаперти». Лаура не боится постучать после полуночи в любую дверь на любой улочке, войти в неосвещенное помещение и сказать тому из прячущихся там, кому вправду угрожает опасность: «За тобой придут завтра в шесть утра — это серьезно. Вот немного денег от Висенте. Поезжай в Веракрус и жди там».

Она занимает деньги у агитатора-румына и отдает их его заклятому врагу — агитатору-поляку. Они состязаются между собой за благосклонность Браджиони, а Браджиони тщательно блюдет нейтралитет, потому что они могут быть ему полезны оба. Поляк за столиком кафе говорит с ней о любви, рассчитывая воспользоваться тем, что она якобы в тайне питает к нему нежные

чувства, и сообщает ей дезинформацию, чтобы она передала ее определенным лицам как истинную правду. Румын действует ловчее. Он щедро дает деньги на всякое доброе дело и лжет ей с таким искренним видом, как будто он ей самый верный друг и наперсник. Ничего из того, что они сообщают, она дальше не передает. Браджиони не задает вопросов. У него есть другие способы узнать про них все, что ему нужно.

К Лауре никто пальцем не прикасается, но все восхваляют ее серые глаза и нежную, пухлую нижнюю губку, которая якобы свидетельствует о веселом нраве, но на самом деле всегда серьезно поджата. Они не понимают, почему она в Мексике. Она ходит по всему городу, выполняя поручения, брови недоуменно вздернуты, в руках папка с рисунками, нотами и школьными записями. Ходит она красиво, прямо как балерина, и это иногда забавным образом возбуждает страсти, но ни к чему не приводит и потому не порождает сплетен. Один молодой командир, когда-то служивший в армии Сапаты, попробовал во время верховой прогулки в окрестностях Куэрнавака выразить ей свои желания со всей благородной простотой, приличествующей народному герою; но в мягкой форме, так как нрав у него был

мягкий. Мягкость и послужила причиной его поражения, ибо когда он спешился, освободил ногу своей дамы из стремени и попытался, стащив ее с седла, заключить в объятия, ее конь, обычно вполне смирный, испугался, взвился на дыбы и унесся прочь со своей всадницей. Конь народного героя со всех ног бросился вслед за приятелем, и герой добрался до гостиницы только глубокой ночью. За завтраком он подошел к ее столу в своей крестьянской повстанческой униформе: серая кожаная куртка и такие же брюки, сверху донизу нашиты серебряные пуговицы; настроен он был шутливо и беззаботно.

— Можно мне сесть к вам? Вы — отличная наездница. Я испугался, что он вас скинет и поволочет. Не простил бы себе всю жизнь. Но вы так держитесь в седле, у меня не хватает слов выразить восхищение.

— Я научилась верховой езде в Аризоне, — сказала Лаура.

— Если вы сегодня опять поедете со мной кататься прямо с утра, я обещаю подобрать вам такую лошадь, которая не будет шарахаться от вас, — предложил он.

Но Лаура вспомнила, что к полудню ей непременно надо возвратиться в Мексико-сити.

На следующее утро был праздник, и дети в школе всю большую перемену писали на доске «Уи лав авар тычер» и цветными мелками вокруг каждого слова нарисовали венки из цветов. Молодой народный герой прислал ей письмо: «Я очень глуп, неосмотрителен, и не умею заранее обдумывать свои поступки. Мне бы следовало сначала сказать, что я вас люблю, и тогда бы вы не убежали. Но мы еще встретимся». Лаура подумала: надо послать ему в подарок коробку цветных карандашей. Она не могла себе простить, что неудачно выбрала момент, когда дать шпоры своему коню.

А однажды поздно вечером к ней во двор явился смуглый юноша с шапкой курчавых волос и два часа кряду голосил, как душа грешника в аду. Лаура не представляла себе, что с ним делать. Прозрачная серебристая дымка лунного света дрожала на открытых местах, по краям сгустились ярко синие тени. Алые цветы иудина дерева казались фиолетовыми. «Алые — фиолетовые, алые — фиолетовые», — машинально повторяла Лаура, наблюдая не самого юношу, а его тень, падающую, как сброшенная темная одежда, на край фонтана и дальше на воду. Неслышно вошла Лупе и шепотом со знанием дела посоветовала:

«Брось ему один цветок, он споет еще песню или две и уйдет». Лаура бросила цветок, он спел последнюю песню и пошел со двора, а цветок заправил за ленту шляпы. Лупе сказала: «Он — один из организаторов Союза типографских работников, а раньше продавал на рынке неприличные открытки, а еще раньше переселился сюда из Гуанохуато, это моя родина, и я вообще не доверяю мужчинам, тем более тем, которые родом из Гуанохуато».

Однако она не предупредила Лауру, что назавтра ночью он явится снова, и послезавтра тоже, и будет ходить за нею на определенном расстоянии по рынку и через Соколо, по авеню Франсиско Первого, по аллее Реформы, по парку Чапультепек и дальше по тропе Философов все с тем же цветком в шляпе и с тем же неотрывным вниманием во взгляде.

Теперь Лаура к нему привыкла, его преследования ничего не значат, просто ему девятнадцать лет, и он старательно соблюдает принятые условности, как будто они основаны на законах природы, что в конце концов, возможно, так и есть. Он уже начал сочинять стихи, отпечатывает их на деревянном печатном станке и засовывает ей в дверь, как счета. Ее приятно волнует задум-

чивое, неторопливое внимание в его черных глазах, которое со временем неизбежно должно будет обратиться на другой объект. Конечно, брошенный цветок был ошибкой, это ясно, ведь ей двадцать два, могла бы понимать; однако она не раскаивается и убеждает себя, что неприятие всех внешних проявлений — это признак внушаемого себе стоицизма на случай катастрофы, которой она так боится, что и назвать ее не может.

Она не своя в мире. Каждый день она учит детей, которые остаются для нее чужими, хотя она любит их мягкие округлые руки и их обаятельное дикарское заискивание. Она стучится в незнакомые двери, не зная, друг или чужой их откроет, и даже когда из неведомой темной глубины выглядывает известное лицо, все равно это лицо незнакомого человека. И неважно, что этот человек говорит ей и что содержится в принесенном ею сообщении, самые клетки ее существа всегда отвергают знакомство и родство, используя для этого одно и то же слово: Нет. Нет. Нет. Из этого волшебного, магического слова она черпает силы, которые не дают вовлечь ее в зло. Все отрицая, она может безопасно ходить всюду и смотреть вокруг, не удивляясь.

«Нет», — твердо говорит неизменный голос ее

крови, и она смотрит на Браджиони, не удивляясь. Он — великий человек, вот что он хочет внушить наивной молодой женщине, которая укрывает плотной темной материей свои большие круглые груди и прячет длинные, исключительно красивые ноги под толстым подолом юбки. Она, можно сказать, худа, если не считать необъяснимую полноту груди, как у кормящей матери, и Браджиони, полагающий себя знатоком женщин, снова задумывается над загадкой ее общеизвестной девственности и прибегает к свободе слова, которую она допускает без каких-либо проявлений стыдливости, вообще без каких-либо проявлений, что как-то смущает.

— Думаешь, ты такая холодная, грингита? Погоди, увидишь. В один прекрасный день ты сама себе удивишься. Хотелось бы мне при этом присутствовать, чтобы наставлять тебя! — Он скашивает на нее свои недобрые кошачьи глаза, и зрачки расходятся по двум направлениям — к двум отсветам на концах прямой линии, соединяющей выпуклости ее груди. Его не отпугивает синяя саржа и Лаурин решительный, твердый взгляд. У него еще достаточно времени. И он раздувает щеки, приступая к очередной песне. — О, девушка с темными глазами, — начинает

он. — Хотя у тебя ведь глаза не темные. Сейчас я это переделаю. О, девушка с зелеными глазами, ты похитила мое сердце! — Внимание его переключается на песню, и Лаура чувствует, что ее больше не давит тяжесть его взгляда. Во время пения он кажется неопасным, совсем неопасным, нужно только сидеть смирно и вовремя сказать «Нет». Лаура переводит дух и дает волю посторонним мыслям; но отвлекаться особенно нельзя, опасно.

Браджиони недаром пробивался в революционные вожди и профессиональные человеколюбцы. Ему это все принесет немалую пользу. Он достаточно мстителен, злобен, хитер, сообразителен и бессердечен, — свойства, необходимые для того, чтобы любить человечество с выгодой для себя. Ему это все пойдет на пользу. Но потом он доживет до того времени, когда его оттеснят от кормушки другие голодные спасители человечества. Песни, объяснял Браджиони Лауре, ему предписаны традицией, хотя жизнь-то требует другого: кровопролития. Отец его был тосканский крестьянин, уехал из Италии, добрался до Юкатана и здесь женился на индейской женщине из народа майя; она благородных кровей, аристократка. Они научили его любить и понимать

музыку, вот такую — ногтем большого пальца он проезжался по струнам, и инструмент болезненно вскрикивал, будто коснулись обнаженного нерва.

Когда-то все девушки и замужние женщины звали его Дельгадито; они бегали за ним; он был такой тощий, что сквозь жидкое полотно одежды проступали все косточки, он мог надавить руками на свой пустой живот и нащупать позвоночник. Он был поэт, а о революции тогда только мечтали; его любило слишком много женщин, они выпили из него все соки молодости, и он нигде не мог найти себе пищи, чтобы наесться досыта, нигде! И вот теперь он — вождь народа, за ним идут разные люди: и себе на уме, которые ему нашептывают на ухо; и голодные, которые часами ждут у дверей его конторы; и истощенные, с безумным взором, которые ловят его за воротами и робко бормочут: «Камрад, выслушай меня…», — и дышат ему в лицо кислыми испареньями пустого желудка.

Он всегда посочувствует. Отсыплет горсть мелочи из своего кармана, посулит работу, будут демонстрации, так вот, надо, чтобы они вступали в союзы, ходили на митинги, и главное — вылавливали соглядатаев. Эти люди ему ближе родных

братьев, без них он как без рук — так до завтра, камрад!

До завтра. «Они глупы, ленивы, продадут меня с потрохами, перережут мне глотку не за понюх табаку», — говорит он Лауре. Он вкусно ест и вдоволь пьет, он нанимает себе автомобиль и утром по воскресеньям ездит кататься в парк, он спит допоздна в мягкой постели рядом с женой, которая боится шевельнуться, чтобы не потревожить его; он восседает, покоя свои кости в толстых, дрожащих слоях сала, и поет песни Лауре, которая все это знает про него. В пятнадцать лет он как-то вздумал утопиться, потому что любил одну девчонку, первую свою любовь, а она смеялась над ним. «Тысяча женщин заплатили за это», — говорит он, и его поджатые губки загибаются книзу. Теперь он душит волосы «Жокейским клубом» и признается Лауре: «В темноте мне что одна женщина, что другая. Все хороши».

Его жена организует союзы работниц на табачных фабриках, стоит в пикетах и даже произносит речи вечером на митингах. Но ее невозможно убедить в преимуществах подлинной свободы. «Я говорю ей, что мне нужна свобода, и точка. Но она меня не понимает». Это Лаура слышала много раз. Браджиони скребет струны гитары

и рассуждает: «Она по природе добродетельная женщина. Не женщина, а чистое золото, это несомненно. Иначе я бы давно посадил ее под замок, и она это знает».

Его жена, которая так самоотверженно трудится на благо фабричных работниц, часть своего свободного времени проводит, рыдая на полу, из-за того что на свете так много женщин, а муж у нее всего один, и она не знает, где и когда его искать. Он ей сказал: «Если ты не усвоишь, что рыдать тебе можно только в мое отсутствие, мне придется уйти от тебя насовсем». В тот день он ушел из дому и снял номер в отеле «Мадрид».

Последовавший месяц разлуки во имя высших принципов отравлен не только для миссис Браджиони, обладающей безупречным чувством реальности, но и для Лауры, которая чувствует, что ее засасывает трясина кошмара. Сейчас она завидует миссис Браджиони, которая осталась одна и может рыдать, сколько ей хочется, из-за конкретного зла. А Лаура только что возвратилась после посещения тюрьмы и ждет завтрашнего дня в горьком смятении, словно опасаясь, что он может вообще не наступить, время навсегда застрянет на этом часе, сама Лаура так и будет сидеть, потрясенная, Браджиони будет вечно

петь, а мертвое тело Эугенио останется не обнаруженным тюремщиками.

Браджиони говорит:

— Ты спать не собираешься? — И прежде чем она успевает в ответ покачать головой, он уже принимается рассказывать о предстоящих в Морелии майских беспорядках: католики в этот день устраивают праздник в честь Святой Девы, а социалисты отмечают память своих павших героев. — Пойдут две независимых колонны с двух противоположных концов города, где-то посредине они встретятся, и дальше все будет зависеть…

Он попросил ее почистить и смазать его револьверы. Встав, он расстегивает ремень с кобурами и кладет их, заряженные, прямо ей на колени. Патроны падают Лауре в подол через промасленную ветошку, а Браджиони недоумевает: возможно ли, что она так самоотверженно работает на революцию, но не любит никого из революционеров?

— Ты действительно ни в кого не влюблена?

— Нет, — отвечает Лаура.

— И в тебя никто не влюблен?

— Нет.

— Ну, значит, сама виновата. Каждой женщине

на свете найдется пара. В чем дело с тобой? У безногой нищенки в Аламеде есть верный любовник. Ты не знала?

Лаура, прищурившись, молча смотрит в дуло револьвера. На нее медленно накатывает волна дурноты. Браджиони охватывает горло гитары жирными пальцами и осторожно выдавливает из нее музыку. Когда она снова слышит его голос, а о ее присутствии он, похоже, уже не помнит, он вещает голосом гипнотизера, как обычно перед небольшими собраниями тесно сгрудившихся людей.

— Настанет день, когда этот мир, кажущийся теперь таким надежным и вечным, весь, от моря и до моря, превратится в сплошной лабиринт окопов, в груды обрушившихся стен и изуродованных трупов. Все, что есть на земле, будет вырвано с корнем с насиженных мест, из своего векового гнилого болота, и заброшено к небесам, чтобы оттуда вперемешку заново упасть на землю чистым дождем — никто, ничто и ничье. То, что создано мозолистой рукой нищеты для богатых, сгинет с лица земли, и в живых не останется никого, кроме избранных, возвышенных духом, от кого должен пойти новый род человеческий, очищенный от жестокостей

и беззакония, управляемый благодатной анархией. Револьверы — хорошая вещь, я люблю их, а пушки еще лучше, но больше всего я верю в надежный, добрый динамит, — заключает Браджиони и гладит револьвер, лежащий у нее на коленях. — Когда-то я мечтал разрушить этот город, если здесь окажут сопротивление генералу Ортису[2], но столица свалилась к нему в руки, точно переспелая груша.

Возбужденный собственными речами, он встает и стоя ждет, пока она закончит работу. Лаура протягивает ему ремень.

— Вот тебе. Ступай и убей кого-нибудь в Морелии, тебе сразу станет веселей, — говорит она негромко. Присутствие смерти в комнате придает ей смелости. — Сегодня я застала Эугенио уже почти в ступоре. Вызвать тюремного врача он мне запретил. Он принял разом все таблетки, которые я вчера принесла. Говорит, что сделал это, потому что ему скучно.

— Он дурак, и его смерть — это его личное дело, — говорит Браджиони, аккуратно запоясываясь.

— Я сказала ему, что если бы он еще немного

---

[2] Примечания: 2
Ортис, Рубио, в 1930–1932 гг. президент Мексики.

подождал, ты бы добился его освобождения, — говорит Лаура. — А он ответил, что не хочет ждать.

— Он дурак, и хорошо что мы от него избавились. — Браджиони берет шляпу.

Браджиони ушел. Лаура почувствовала, что его настроение переменилось, теперь какое-то время она его не увидит. Он пошлет за ней, когда она ему понадобится, чтобы доставить сообщение по какому-нибудь незнакомому адресу, что-нибудь сказать на словах при появлении в дверях лица, похожего на говорящую глиняную маску, которая пробормочет слова благодарности за помощь для передачи Браджиони. Теперь Лаура свободна. Она думает, что надо уезжать, пока можно. Но не уезжает.

Браджиони пришел в свой дом, где его жена целый месяц подряд еженощно по многу часов рыдала в подушку, разметав волосы по наволочке. Она и сейчас в слезах и еще горше заливается при виде виновника своих страданий. Он оглядывает комнату. Никаких перемен, приятные, знакомые запахи, и хорошо знакома эта женщина, которая идет ему навстречу, и вид ее не выражает укора, а лишь горе. Он говорит ей ласково: «Ты так добра ко мне, прошу тебя, не плачь больше, моя милая, хорошая». Она в ответ: «Ты

устал, ангел мой? Садись вот сюда, я помою тебе ноги». Она приносит таз с водой и опустившись на колени, расшнуровывает ему ботинки. Когда она поднимает на него удрученный взор из-под темных век, его охватывает раскаяние за все, и он разражается слезами. «Да, да, — говорит он сквозь рыдания, — я голоден, я устал. Давай что-нибудь поедим вместе». Прикасаясь лбом к его руке, жена просит: «Прости меня!», — и теперь неиссушимый, печальный поток ее слез освежает его.

А Лаура скидывает платье из саржи, надевает льняную ночную рубашку и ложится в постель. Замерев и повернув голову немного набок, она велит себе уснуть. Числа бегут у нее в мозгу, словно на маленьких циферблатиках, вокруг нее беззвучно захлопываются двери. Если хочешь заснуть, надо забыть все, дети скажут завтра: доброе утро, май тычер, бедные пленники, каждое утро приносящие цветы своей тюремщице. Один-два-три-четыре-пять — это чудовищно, когда смешивают любовь с революцией, ночь с днем, жизнь со смертью — ах, Эугенио!

Звон полуночного колокола — это сигнал, но что он означает? Встань, Лаура, и следуй за мной: выйди из сна, из своей постели, из этого незнакомого дома. Что ты делаешь в этом доме?

Без страха она поднимается и протягивает руку Эугенио, но он с хитрой улыбкой уклоняется и отлетает прочь. Это не все, вот увидишь. Он говорит: «Убийца, следуй за мной, я покажу тебе новую страну, правда она далеко, мы должны торопиться». «Нет, — отвечает Лаура, — только если ты возьмешь меня за руку; а так — нет». Она цепляется сначала за перила лестницы, потом за верхушку иудина дерева, а оно медленно сгибается и опускает ее на землю, потом за край скалистого обрыва, а потом за крутой гребень морской волны, только там оказывается не море, а пустыня из каменного крошева. «Куда ты ведешь меня?» — спрашивает она с недоумением, но без страха. «К смерти, путь туда далек, и надо торопиться», — ответил Эугенио. «Нет, — повторяет Лаура, — только за руку с тобой». «Раз так, съешь эти цветы, бедная пленница, — говорит Эугенио с жалостью, — возьми и съешь». Он обдирает с иудина дерева теплые кровавые цветки и подносит к ее губам. Она видит, что его рука бесплотна, это просто кисточка белых окаменевших веток, и в орбитах его глаз нет огня, но она жадно ест эти цветки, потому что они утоляют и голод и жажду. «Убийца! — говорит Эугенио. И Людоедка! Это мое тело и моя кровь». Лаура вскрикнула:

«Нет!» — и от звука собственного голоса проснулась, дрожа, а заснуть опять боится.

Перевод И. Бернштейн

Постоянно, каждый день[3]

Глухой скрежет — казалось, в стене скребется огромная крыса — означал, что подъемник пополз вверх: внизу уборщица тянула канат. Миссис Халлоран перестала гладить, брякнула утюг о доску и сказала:

— Наконец-то. Сколько можно ждать. Что бы тебе час назад обуться, дойти до угла и принести картошку. Меня на все не хватает.

Мистер Халлоран выпростался из кресла, упираясь в ручки, медленно, тяжело поднялся на ноги, оглядел комнату; надеялся что ли, обнаружить поблизости костыли.

— К тому ж еще и носки протираешь, — присовокупила миссис Халлоран. — Или ты босиком ходи, или поверх носков ботинки надевай, как от веку положено, — сказала она. — В носках ходить. Какой в этом прок, спрашивается? Ни то, ни се.

Она развернула персикового цвета шифоновое неглиже, украшенное кремовыми кружевами и пышными бантами, легонечко встряхнула и разложила на доске.

---

[3] Примечания: 3
1 Пар. 16, 37.

— Господи, спаси и помилуй, ты погляди только на эту пакость, — сказала она. Снова брякнула утюг о доску и заскользила взад-вперед по мятой ткани. — А тебя не убудет снести картошку в буфет, — сказала она, — нечего ей на полу валяться. Не убудет тебя.

Мистер Халлоран взял пакет с картошкой из подъемника и направился к угловому шкафчику рядом с ледником.

— Чего б тебе не вытащить все разом, — сказала миссис Халлоран. — Что без толку мотаться взад-вперед по сто раз. Самому последнему слабаку и то под силу поднять три кило картошки зараз. А может и не под силу.

От ее голоса у мистера Халлорана стоял шум в ушах, будто били доской о доску.

— Не лезть бы тебе не в свое дело, — сказал он, но адресовался не к ней. Продолжал вести спор с самим собой. — Ой, не могу я это сделать, мистер Хони, — ответил он унылым фальцетом. — И не просите, я о таком подумать и то не могу. Не положено так, — сказал он и застыл на полусогнутых ногах, поверх мешка с картошкой злобно буравил взглядом тощую чужую женщину, которая всегда была ему не мила, — она гладила белье, на лице ее было поганое — страстотерпица да и только

— выражение. — Может, я и мало на что годен, — уже своим голосом сказал он, — но заруби себе на носу: чтобы вынуть картошку из подъемника, у меня соображения хватит.

— Кто бы мог подумать, — сказала миссис Халлоран — И на том спасибо.

— Телефон, — сказал мистер Халлоран, снова устроился в кресле и вынул трубку из кармана рубашки.

— Слышу, не глухая, — сказала миссис Халлоран, водя утюг взад-вперед по персиковому шифону.

— Это тебе. У меня никаких дел больше нет, — сказал мистер Халлоран. Его серые с прозеленью глазки поблескивали; ухмылка обнажила два острых клыка.

— Что бы тебе взять трубку. Вдруг не туда попали или звонят кому-то с нижнего этажа, — сказала миссис Халлоран, ее тусклый голос звучал тусклей некуда.

— Так ли, сяк ли, пускай звонят, — решил мистер Халлоран, — по мне, то есть. — Он черкнул спичкой по ручке кресла, поднес огонек к трубке и сделал первую затяжку, телефон меж тем все звенел и звенел.

— Небось, опять Мэгги, — сказала миссис Хал-

лоран.

— Пускай себе звонит, — сказал мистер Халлоран, откинулся на спинку, закинул ногу на ногу.

— Господи, спаси и помилуй, что ж ты за человек такой — дочь звонит, а тебе трубку снять и то лень, — воззвала миссис Халлоран к потолку. — А у дочки-то беда, муж ей денег не дает точно собаке какой, а сам торчит полночь-заполночь в салунах с парнями из Малого Таммани[4]. И еще в политику ударился вместе с шайкой-лейкой Маккоркери. Теперь добра не жди, так я ей и сказала.

— Тоже мне беда, муж ее — парень хваткий, он далеко пойдет, если только она ему препятствовать не будет, — сказал мистер Халлоран. — И жаловаться ей не на что — так я бы ей сказал. Только отца нынче ни во что не ставят. — Мистер Халлоран кивнул на окно, выходившее на мощеный кирпичом прогал между домами, и закукарекал петухом. — Отца нынче ни во что не ставят, а раз так, кто ж отцова совета послушает?

— Соседям про то знать не обязательно, мало мы что ли сраму натерпелись, — сказала миссис Халлоран.

Снова поставила утюг на газовую горелку и

---

[4] Примечания: 4

Таммани — организация Демократической партии в Нью-Йорке. Была известна как центр коррупции.

пошла к телефону на площадке первого этажа. Мистер Халлоран подался вперед, уронил худые, поросшие рыжим волосом руки между колен, разогревшаяся трубка приятно попыхивала ему прямо в нос. Жена терпеть не могла и трубку, и ее запах; такая жена любому мужику, какого ни возьми, жизнь загубит. До кризиса, покуда у него еще была хорошая работа и надежда на прибавку, покуда он еще не сел на пособие, покуда она не стала зарабатывать стиркой и глажкой тонкого белья, в прежнее, славное времечко, она тоже, упаси, Господи, язык распускала, ты ей слово, она тебе пять, но тогда она свою пользу понимала и к трубке не цеплялась. Теперь, когда от меня, можно сказать, пользы, что от козла молока, она ни на минуту не дает об этом забыть. А кто тому причиной, что мы не раскатываем в лимузине с пепельницами, переговорной трубой и хрустальной вазочкой для цветов — она и только она. И поделом мне, женился на святоше — потом не жалуйся. Предупреждал же его Джералд Маккоркери, с самого начала предупреждал.

— Эта девочка не даст тебе развернуться, — говорил Джералд. — Ты суешь голову в петлю, — с ней жизни не будет. Послушай моего совета, я тебе добра желаю, — сказал Джералд Маккорке-

ри. А ведь он всего-то и видел Лейси Махаффи мельком воскресным утречком на Кони-Айленд. Но Маккоркери он такой, глаз-ватерпас, людей видит насквозь. Раз глянет на человека, с ходу поймет, чего он стоит, — и точка. А если человек проверки не выдерживал, Маккоркери умел его убрать с дороги да так, что тому ни в жизнь не догадаться, как и что. Вот отчего Маккоркери высоко взлетел.

— А это Розы, собственной персоной, — сказал Джералд в то воскресенье на Кони-Айленде. — Познакомьтесь с будущей миссис Джералд Дж. Маккоркери.

Тонкое личико Лейси Махаффи под широкими полями соломенной шляпки скисло — ну чисто простокваша. Она едва кивнула Розы, а та прямо-таки раздела мистера Халлорана глазами. Мистер Халлоран тогда еще подумал, что и он не понимает, почему Маккоркери выбрал такую девчонку: собой она приглядная — ничего не скажешь, но по всему видно, что это шлюшка, каких на Четырнадцатой улице пруд-пруди, у Халлорана на это глаз наметанный.

— А что, если нам, — сказал Маккоркери и обхватил Розы за талию, — прокатиться всей компанией на русских горках?

Куда там, Лейси — ни в какую. Сказала:

— Нет, нет, благодарствую. Мы сюда ненадолго выбрались, нам пора уходить.

По дороге домой мистер Халлоран сказал:

— Лейси, уж больно ты строга. Может, она в душе и неплохая, просто не получила такого, как ты, воспитания.

Лейси обернула к нему лицо — не лицо, морду бешеной кошки — и сказала:

— Она распутная, непотребная, он, что, не понимает — мне с ней компанию водить зазорно, — и еще нескоро кошачья морда стала снова хорошеньким, свеженьким личиком, пленившим мистера Халлорана.

Назавтра «У Билли», после того, как они опрокинули по три порции на брата, Маккоркери сказал:

— Ты бы, Халлоран, поостерегся, подумал, как жить будешь. Барышня она честная, хорошая, — ничего не скажу, но обходительности ей не хватает. А тебе, раз ты в политику подался, нужна такая жена, которая каждого сумеет приветить. Такая жена, которая не будет чваниться да чиниться.

В коридоре зудела миссис Халлоран, голос ее блекло шуршал — точь-в-точь, как брошенные

на парковых скамейках старые газеты:

— Я тебе наперед говорила: потом мне не плачься. Я тебя еще когда предупреждала, а ты и слушать не хотела… Я тебе наперед говорила, чем это кончится, уж как я тебя отговаривала… Так нет же, ты меня и слушать не стала, ты же все знаешь лучше, чем мать… А теперь ничего не попишешь: ты же в церкви обет дала, так что хочешь-не хочешь, а уживайся с мужем… Теперь послушай меня: чтобы он долг свой помнил, сама веди себя, как долг велит. Женщине заповедано долг свой помнить, и тогда, коли муж долга не помнит, ее вины тут нет. Помнит он свой долг или не помнит, твое дело — вести себя, как долг велит, и если он долга своего не помнит, тебе это не оправдание.

— Ну, вы такое слыхали? — воззвал мистер Халлоран к прогалу, в голосе его сквозил испуг. — Это же страх Господень, что за святоша.

— …Женщине заповедано свой долг помнить, я тебе так скажу, — говорила миссис Халлоран в телефон, — ну а если муж все равно не угомонится, что ж, значит такая ее доля — вести себя, как долг велит, а на него не полагаться. — Голос ее взлетел, так что соседи много чего наслушались бы, будь у них такое желание. — Мне ли тебя не

знать, ты в отца пошла. Небось, сама долга своего не помнишь, вот и попала в переплет. А сейчас разве ты как долг велит поступаешь — тебе бы домашние дела делать, а ты названиваешь мне. У меня утюг на плите стоит, глажу поганые рубашки такой женщины, с которой я и сесть рядом побрезговала бы, будь муж способен обо мне позаботиться. Так что переделай поскорее все дела по дому, оденься и иди на воздух, может, мозги у тебя и прочистятся…

— На воздухе мозги точно прочистятся, — громко возвестил в открытое окно мистер Халлоран. — А вот от трепа можно мозгами тронуться.

— А теперь послушай меня, Мэгги, разговор этот не для телефона. И кончай нюни распускать, делай, что долг велит, а меня больше не дергай. И не смей говорить, что уйдешь от мужа, подумай хотя бы: ну куда ты денешься? На панель что ли пойдешь или прачечную на кухне устроишь? К нам вернуться ты не можешь, так что оставайся-ка ты у мужа — там твое место. Не будь дурой, Мэгги. Он тебя кормит, а много есть женщин и получше тебя, кто и этого не имеет. Отец? Что с ним сделается? Да, торчит, как всегда, дома. Бог знает, что с нами станется. Да ты ж его знаешь, ему хоть бы хны… И попомни мои слова, Мэгги, если у тебя

с мужем разладится, сама будешь виновата, и от меня жалости не дождешься… Ну, хватит, некогда мне разговоры разговаривать. Всего.

Мистер Халлоран навострил уши — боялся пропустить хоть слово, думал: Джералд Маккоркери вон куда, на самый верх лестницы, можно сказать, взобрался — и Рози к этому причастна; и каждый раз, когда семейство Маккоркери взбиралось ступенькой выше, он, Майкл Халлоран, опускался ступенькой ниже — и Лейси Махаффи к этому причастна. Начинали они вместе совсем еще пацанятами, в одно и то же время и возможности у них были одни и те же, и дружки одни и те же, только Маккоркери, сколько бы случаев ему ни подвертывалось, ни одного не упустил, сумел подкатиться к большим шишкам, которые выборами в округах заворачивали, а там одно прибыльное дельце другое за собой тянуло. Рози умела и опорой ему быть, и протолкнуть его, куда нужно. Маккоркери еще не один год приглашали их с Лейси и домой, и закатиться куда-нибудь компанией, но Лейси ни в какую.

— Будешь хороводиться с этими ушлыми ребятами, пить да гулять по ночам, на работе не удержишься, — говорила Лейси, — и вообще, как у тебя язык повернулся просить жену водить

компанию с такой женщиной?

У мистера Халлорана вошло в обыкновение время от времени наведываться к Маккоркери в одиночку: тот все еще благоволил к нему, все еще готов был пристроить его к хорошему делу, в выборы все еще просил пособить тем-сем. У Маккоркери, где бы они ни жили, всегда народу труба непротолченная, дым коромыслом; они то и дело переезжали — и всякий раз в квартиру получше, с мебелями пошикарней. Рози помогала и выпивку разносить и сама стаканчик-другой могла пропустить, и для каждого у нее шутка была припасена. Пианола или там патефон играли без передыху, все плясали, и видно было, что и наличность у них водится, и насчет будущего им беспокоиться нечего. После таких вечеринок он возвращался домой поздно в ту же самую тесную квартирку без горячей воды, без лифта, потому что Лейси лишний доллар напоказ нипочем не потратит. Все до последнего цента надо откладывать на старость, говорила она. Он у Маккоркери наестся вкуснятины всякой, напьется вдосталь, а дома его встречает Лейси в затрапезе, в который раз разогревает жареную картошку, сердитая, разобиженная, молчит, голову понурит, лицо скривит: почуяла, что от него попахивает спирт-

ным.

— Раз я тебя до ночи ждала, картошки нажарила, мог бы по крайности ее съесть, — скажет.

— Да ну ее, ешь сама свою картошку, на кой мне она, — огрызнется он: оттого, что не такой жены он хотел и не такой жизни, какую он по ее милости ведет.

Год за годом он жил надеждой, что его назначат управляющим одного из сети бакалейных магазинчиков, где он работал, и пусть надежда не сбылась — все равно пенсия ему, как он уйдет на покой, обеспечена. Но за два года до пенсии его уволили — по причине спада, так ему сказали. Нежданно-негаданно выкинули на улицу, а ему даже пожаловаться некому было, кроме как домашним.

— Господи, — сказал мистер Халлоран — семь лет уж как он без работы, а все не может забыть тот день.

А вот Маккоркери спад был нипочем. Он взбирался все выше и выше — в «У Билли» угощал ребят отбивными, что ни год пирушку для них там закатывал, пивом их поил, водил дружбу с нужными людьми, своего притом никогда не упускал. Дальше больше, и вот уже клуб Джералда Дж. Маккоркери нанял целый пароход

— устроил знатную прогулку по реке. Повеселились на славу, а Лейси торчала дома — дулась. После выборов в газетах Розину фотографию напечатали — улыбается Маккоркери, и не то, чтобы растолстела, просто видная женщина, пятнастая шуба на ней, к шубе цветы пришпилены, зубы хорошие, как были, так и есть. Господи, вот это жена так жена, всякому бы такую. Мистер Халлоран краем глаза видел костлявую сгорбленную спину Лейси Махаффи, она стояла на одной ноге, чтобы дать отдых другой, руками в стол упиралась, ну как есть заезженная кляча, — ждала, когда утюг нагреется.

— Это Мэгги звонила поплакаться, — сказала она.

— Надо думать, ты ей хороший совет дала, — сказал мистер Халлоран. — Надо думать, наказала надеть шляпку и уйти от него.

Рука миссис Халлоран с утюгом повисла над розовыми атласными штаниками.

— Я ей наказала долг свой помнить, а закон пусть мужчины преступают, — сказала она, и голос у нее был, как у патефона, когда пластинка кончается. — Я ей наказала испытания, Господом ей ниспосланные, со смирением сносить, как сносила ее мать.

Мистер Халлоран взвыл и выбил трубку о ручку кресла.

— Ты, дай тебе волю, весь свет загубишь. Сердца у тебя нет, девчонка только-только замуж вышла, а послушать тебя, так получается, ей некуда податься — ни дома, ни отца с матерью. Только, если она будет дома торчать да картошку чистить и даст мужу собой помыкать, не моя она дочь. Не моя она дочь, и я так ей и скажу…

— Она твоя дочь, и тебе это хорошо известно, так что попридержи-ка язык, — сказала миссис Халлоран, — слушай она тебя, она давно бы уличной стала. Я ей такое воспитание дала, чтоб она в девушках себя помнила, и замужем она тоже помнить себя должна, не то я ее на колено положу да всыплю, — не посмотрю, что выросла. Вот так-то, Халлоран.

Мистер Халлоран откинулся на спинку кресла: шарил на полке над головой, пока не нашарил полдоллара, он его давно заприметил. Зажал монету в руке, быстро встал, обвел глазами комнату — искал шляпу.

— Забирай себе свою дочь, Лейси Махаффи, — сказал он. — Не от меня, от Святого Духа ты ее родила — с ним вечно грешишь. Ну, я пошел — разомну ноги да опрокину пару кружек пивка,

а то у меня уже ум за разум заходит.

— На доллар этот, что ты тишком с полки стащил, — сказала миссис Халлоран, — ты даже и не рассчитывай. Ты что думаешь, я ко всему прочему еще и ослепла? А ну положи назад, откуда взял. Доллар этот нам на хлеб насущный на сей день[5] дан.

— Опостылел мне твой хлеб и на сей и не на сей день, — сказал мистер Халлоран. — Пиво — вот, что мне нужно. И не доллар там лежал, а полдоллара, тебе ли не знать.

— Так ли, сяк ли, — сказала миссис Халлоран, — а мне он заместо доллара, И точка.

— У тебя деньги на завтрашнюю картошку в кармане зашиты и невесть сколько еще в черной коробке, одному Богу известно, куда ты ее прячешь, не говоря уж о тех деньгах, что ты за жизнь скопила, — сказал мистер Халлоран. — Эти полдоллара из моего пособия — их я заработал и потрачу их путем. И к ужину я не вернусь, так что у тебя и на этом экономия выйдет. Покедова, Лейси Махаффи, я пошел.

— По мне, так и вовсе домой не возвращайся, — сказала миссис Халлоран, не глядя на него.

---

[5] Примечания: 5
Мат. 6, 11.

— Вернись я с тугой мошной, ты б еще как радовалась, — сказал мистер Халлоран.

— Только если мошна будет уж очень тугая, — сказала миссис Халлоран.

Мистер Халлоран изо всей силы хлопнул за собой дверью.

Он побрел ясной осенней погодкой, предзакатное солнце грело ему затылок, прихорашивало старые с высоким крыльцом дома красного кирпича на Перри-стрит. Он пойдет к «У Билли» — это ж сколько он там не бывал, — глядишь, ему там повезет. Шел он, однако, не спеша, то и дело останавливался покалякать с соседями.

— Доброго вам здоровьичка, мистер Халлоран.

— И вам, миссис Гаффери.

— Славная погодка для такой поры, мистер Гогарти.

— Это точно, мистер Халлоран.

Мистер Халлоран просто-таки расцветал от этого обмена любезностями, он любил помахать шляпой, задушевно поприветствовать соседа, — так, будто никаких у него забот-хлопот. А вот и парень из магазинчика «Джи энд Ай» за углом. Уж он-то знает, что мистер Халлоран был там не последний человек.

— Добрый день, мистер Макинерни, как дела?

— По нынешним временам, мистер Халлоран, неплохо, лучше быть не может.

— Да уж, мистер Макинерни, на лучшее надеяться не приходится.

— Ваша правда, мистер Халлоран, висим на волоске.

Слегка приободрившись: не ему одному, всем туго приходится, мистер Халлоран приветствовал молодого полицейского на углу. Полицейский острым глазом что-то вычитывал в газете на стенде через дорогу.

— Как поживаешь, О'Фаллон? — спросил мистер Халлоран. — Небось, у тебя нынче дел невпроворот?

— Да нет, в моем квартале тишь да гладь, ну чисто кладбище, — сказал О'Фаллон. — А вот Коннолли жалко. — И он указал глазами на газету.

— Он что, помер? — спросил Халлоран. — Я только вышел, газет не видал.

— Пока нет, — сказал О'Фаллон. — Но ФБР за него взялось, и, видать, на этот раз ему не отбиться.

— У Коннолли нелады с ФБР? Господи, спаси и помилуй, — сказал мистер Халлоран. — За кого ж они тогда следом возьмутся? И всюду-то они нос суют.

— Прицепились к лотерее, к «номерам»[6] этим, — сказал О'Фаллон. — И какой, скажи на милость, в ней вред? Человек политикой занимается, надо ж ему откуда-то деньги доставать? Им бы на этот раз ему спустить.

— Коннолли — молодчага, дай ему Бог здоровья, я думаю, он им не дастся, — сказал мистер Халлоран. — Смажет салазки — и ускользнет у них промеж пальцев.

— Его голыми руками не возьмешь, — сказал О'Фаллон. — Коннолли этот — малый не промах. Выпутается.

И все-таки выпутается или нет, спросил себя мистер Халлоран. И кто может спать спокойно, если Коннолли зацапают? Не терпится доложить Лейси Махаффи, что с Коннолли стряслось, смерть как хочется — двадцать лет уж не хотелось — поглядеть на ее лицо. Лейси все талдычила: «Кто дурак набитый, тот не иначе, как мошенством разбогател. Стоящие люди, те богатеют, и притом никому ничего плохого не делают. Возьми, к примеру, Коннолли, хорошие католики, не на словах, наделе, детишек девятеро, а Бог даст и еще народят, к мессе что ни день ходят, и ведь побогаче

---

[6] Примечания: 6

Ежедневная нелегальная лотерея, ставки в ней делаются на непредсказуемую цифру, например, на биржевую котировку.

твоих Маккоркери будут — вот уж у кого грехам счет потерян». Словом, Лейси Махаффи, опять ты попала пальцем в небо, так что поклон и привет от меня твоим Коннолли, которые день-деньской в церкви торчат. А все ж без Коннолли Джералду Маккоркери в люди бы не выбиться: Маккоркери у Коннолли за связь с газетами отвечал, после выборами заправлял, еще тогда, когда Коннолли вертел Таммани, как хотел, — и сам черт ему не брат. А ведь начинал Маккоркери с самого низа. Сперва снял подвальчик, платил за него сущие пустяки, парни из клуба Коннолли и из Малого Таммани, сброд, можно сказать, со всего района, когда вечерок поспокойнее выдастся, заскакивали туда в картишки перекинуться, выпить, а попутно и дела обговорить. Ничего недозволенного, ничего такого, что законом запрещено, подвальчик брал долю с выигрыша и на спиртном хорошо зарабатывал, ну и ребята вместе держались, не разбредались кто куда. А сколько планов, и нешуточных, здесь обмозговывали — и все в прибытке были. Все, кроме меня, а в чем причина, спрашивается? Когда Маккоркери сказал мне «Заступай меня, будешь в клубе Маккоркери заправлять», — вот, когда мне случай вышел, но Лейси Махаффи заартачилась, ну а

как раз о ту пору Мэгги ожидалась и тревожить Лейси нельзя было.

Мистер Халлоран брел дальше, ноги знакомой дорогой несли его к «У Билли», — голову повесил, со встречными больше не калякал, снова и снова разговаривал сам с собой: разбирался. Какую из дорог рассмотреть, чтобы выяснить, где — на том ли, этом ли перепутье — он мог бы пойти в другую сторону, и тогда его жизнь сложилась бы иначе; так нет же, он свернул не туда, и теперь уже ничего не изменить. Она ничего не сказала бы — только: «Ты сам знаешь, Халлоран, так негоже», ну и что после этого будешь делать? Э, да что говорить, ты бы мог — могут же другие — не допускать ее в свои дела, нечего бабе мужику указывать, что да как; а принес бы ты ей деньги, она враз и утихла, а нет, дал бы ей леща, чтоб знала свое место. Лейси Махаффи — из всех баб, сколько их ни на есть, — первой стоило бы задать трепку, но он так и не насмелился для ее же пользы вздуть ее хорошенько. Вот и еще одна твоя — а их не счесть — ошибка. Зато у тебя имелись верная, на всю жизнь, работа в «Джи энд Ай» и в придачу покойная или почти покойная жизнь дома. Помнится, многие парни мне тогда завидовали, а я и в ус не дул: денег поднакопил и

знал, что на сбережения да на пенсию могу под конец жизни и свое дельце завести. «И чем все кончилось?» — вопросил шепотом мистер Халлоран и огляделся вокруг. Ответа не последовало. Тебе ли, Халлоран, не знать, чем все кончилось! Тебя вышвырнули на улицу, как мальчишку рассыльного, за два года до пенсии. И ведь ты и допрежь видал, и не раз, и не два, как такое с другими проделывали и знал: и с тобой такое могут проделать, и своим глазам не верил? «Джи энд Ай» помогли мне стать на ноги, когда я зеленым юнцом только-только сюда приехал, тамошние были из одного со мной теста, так мне, во всяком случае, думалось. Что ж, прошлого не воротить. Да, не воротить, но ведь было, было же времечко, когда ты мог огрести хорошие деньги на «номерах», не хуже самых хватких из них: помогал бы собирать откупные, брал бы свою долю. И сейчас у тебя уже лежала бы в банке кругленькая сумма на имя Лейси — и ее бы никто у тебя отобрать не мог. Дело прибыльное, надежное — никому не подкопаться. Так нет же, подкопались, вспомни, Халлоран; а все равно и горе и обида не проходят, колом в горле стоят.

Видать, песенка Коннолли спета; Лейси Махаффи тогда еще сказала: «Как только бедных

людей ни обирают, а теперь еще эти „номера“ придумали, но ты не для того родился, чтобы воровать, не то, что Маккоркери». Нет, нет, упаси Господи, Халлоран, бедовать на пособие — вот для чего ты родился, вот что, видать, для Лейси значит — жить по-честному. Ох, уж эта Лейси… Сколько денег на ее имя ни положи, мне бы от них никакого проку не было. Она все, сколько ни накопи, в кубышку сложит, а сама будет жаться, недоедать, грязное исподнее стирать, и ни гроша на жизнь не потратит. Она мне поперек дороги встала, Маккоркери, — ни дать ни взять скелет, костями стучит-гремит, ты дело говорил: сгубила она меня. «Еще не вечер, Халлоран, — сказал Маккоркери и встал перед глазами — лицо и повадка у него были те же, что и прежде. — Не вешай носа, Халлоран. Скоро выборы, у всех работы будет выше головы, невпроворот, и такой человек, как ты, мне нужен позарез. Чего б тебе раньше ко мне не прийти, знаешь же, я старых друзей не забываю. А ты, Халлоран, заслуживаешь лучшего, — сказал Маккоркери. — Я всем так говорил, а теперь скажу тебе в лицо: мало кто, Халлоран, больше заслуживает всего самого лучшего, чем ты, только вот ведь какая заковырка — на всех удачи не хватает, но настал и твой че-

ред, и у меня припасена работенка по тебе. Такой парень, как ты, Халлоран, с ней справится шутя, одной левой, а деньги за нее платят хорошие. Наладить работу среди своих, среди соседей, они тебя знают, уважают и как человека, который слов на ветер не бросает, и как друга Джералда Маккоркери. Послушай, Халлоран, — сказал Джералд Маккоркери и подмигнул ему, — ты ведь и так все понял, можно не продолжать. Нам, Халлоран, нужны голоса, много-много голосов, и у тебя, Халлоран, избиратели, живые они или мертвые, будут голосовать за нас. Смотри за тем, что делается вокруг в оба, и, как что заметишь, связывайся со мной. Скажи прямо, сколько ты хочешь получать, И чего б тебе когда-никогда не заглянуть к нам, а, Халлоран? Рози мне не счесть сколько раз говорила: „Что за веселье без Халлорана, души компании?“ Вот какое у Рози о тебе мнение. У нас теперь квартирка о двух этажах, занавеси зеленого бархата, ковры такие, что ботинок в них утопает по самые шнурки, и не вижу причины, почему бы тебе не завести такую же, было бы желание. Чтоб такой парень-хват, как ты, да перебивался с петельки на пуговку!»

Хорошо бы, только Лейси Махаффи, небось, опять заартачится.

«Что ж, на ней свет клином не сошелся, Халлоран, ты ж еще мужик что надо, найди себе кого-то вроде Рози, чтоб было к кому ночью привалиться под бочок». Так-то оно так, но ты, Маккоркери, забыл, что у Лейси Махаффи и ножки, и волосы, и румянец были — такие разве что у хористок бывают. А какой в этом прок? Да никакого. Поверишь ли, но она ни разу в жизни вся не разделась, даже, когда купается? Мерзкая баба — на уме у нее одни пакости, по ее все грех, она мужику случая не даст себя мужиком показать ни с какой стороны. Теперь-то она уже не та, душонка ее подлая проступила, страшная она теперь как смертный грех, вот так вот, Маккоркери. «Я тебе говорил, что так и будет, — сказал Маккоркери, — но теперь, когда у тебя и работа, и деньги завелись, ты можешь жить по-своему, а Лейси Махаффи пускай себе по-своему живет». Так я и сделаю, Маккоркери. «А про Коннолли и думать забудь. Помни, я сам по себе и всегда был сам по себе. Коннолли — крышка, а мне — нет, вот уж нет. Я еще сильней стал, Халлоран, теперь, когда Коннолли не стоит на пути. Я давно видел, к чему дело идет, Халлоран, и вовремя откололся от него. Вот так-то, Халлоран, Маккоркери врасплох не застигнуть. Да, чуть не забыл… Вот тебе поперву на расходы. Это для

начала, а там подкинем еще...»

Мистер Халлоран вдруг замер: пахнуло знакомым духом, теплым духом бара «У Билли» — духом пива и отбивных, опилок и лука, у любого бара такой дух, а все ж таки, чем-то он и особенный. Голоса в голове тоже замерли, будто ему кто рукой мозги накрыл. Мистер Халлоран вынул руку из кармана — он, похоже, и вправду рассчитывал найти там зеленые. На ладони лежало полдоллара. «Покантуюсь в баре, покуда денег хватит, а там, надо думать, и Маккоркери подойдет».

Не успел он переступить порог, как увидел Маккоркери — он расположился у бара, сам себе наливал из стоящей перед ним бутылки. Билли лениво возил перед ним по стойке тряпкой, и глаз его — ни дать ни взять устрица в собственном соку — скользнул к Халлорану. Маккоркери тоже заметил его.

— Разрази меня гром, — сказал он, и по голосу в нем теперь было, пожалуй что, и не узнать парня из графства Мейо, — если это не мой корешок, мы с ним еще в «Джи энд Ай» трубили. Давай к нам, Халлоран, — сказал он, и на лице у него ни один мускул не дрогнул. — Давай к нам, скажи, что тебе налить.

У мистера Халлорана потеплело на сердце, как всегда при виде Маккоркери, а спроси его, в чем тут дело, он и сам не объяснит, но было в Маккоркери, было что-то такое. Да, это Джеральд, тот самый Джеральд, он никогда не забывал друзей и, похоже, не смотрел, богатый ты или бедный, с вырубленным как из гранита лицом, глазами — голубыми стеклышками, не человек — кремень, это уж точно. Вот он тут, говорит: «Давай к нам», — можно подумать, они вчера только расстались; осанистый, плотный, в дорогом костюме — это уж как всегда; серая шляпа чуть потемнее костюма, поля лихо заломлены, притом не как у какого-нибудь гуляки, вовсе нет. Все наипервейшего качества, сидит на нем, как влитое, — ему без этого нельзя, больше веса ему придает. Мистер Халлоран сказал:

— А вот и ты, Маккоркери, на всем белом свете никого мне сегодня не хотелось так увидеть, как тебя, но я себе сказал: а может, он теперь в «У Билли» и не так часто бывает.

— Это почему же? — спросил Маккоркери. — Я к «У Билли» уже четверть века хожу, наша старая гвардия из клуба Маккоркери, как в былые времена, так и сейчас, сюда стекается. — Одним взглядом охватил мистера Халлорана с головы до

ног и отвернулся к бутылке.

— Я думал было пивка выпить, — сказал мистер Халлоран, — но нюхнул виски и передумал.

Маккоркери налил второй стакан, и оба одинаково округлив локти, одной рукой поднесли стаканы к губам, взмахом другой — поприветствовали друг друга.

— За лиходейство, — сказал Маккоркери.

— За твое здоровье, — радостно подхватил Халлоран.

Да пропади все пропадом, он там, где ему место, в хорошей компании. Халлоран уперся ногой о приступку стойки, осушил виски и только поставил стакан, как Маккоркери снова ему налил.

— Самое время опрокинуть стакашек-другой по-быстрому, — сказал он, — пока ребята не подоспели.

Мистер Халлоран осушил и этот и только потом заметил, что себе Маккоркери не налил.

— Я тебя опередил, — сказал Маккоркери. — Так что на этот раз выпей без меня.

Они помолчали, их обстала тишина, казалось, она, просачивается откуда-то из самого нутра Маккоркери наподобие тумана, — да был ли он и впрямь здесь, да и вообще говорил ли он, вот оно как вдруг оборачивалось. Затем Маккоркери

сказал без обиняков:

— Давай, Халлоран, выкладывай. С чем пришел?

И еще два раза ему налил. Да, Маккоркери все такой же: знал, что тебе надо, и переходил прямо к делу.

Мистер Халлоран обхватил рукой стакан, уставился на мокрое пятнышко виски на дне.

— Что если нам сесть? — сказал Халлоран: ноги у него вдруг стали ватные. Маккоркери взял бутылку, переставил ее на столик рядом. Он сидел напротив двери, взгляд его нет-нет да перебегал на дверь, на лице у него однако было написано внимание — похоже, он готов выслушать все, что ему ни расскажи.

— Ты же знаешь, каково мне приходилось дома все эти годы, — многозначительно начал разговор Халлоран и замолчал.

— Еще бы, — просто, по-дружески, сказал Маккоркери. — Как она сама-то нынче?

— Надо бы хуже да нельзя, — сказал Халлоран, — только не в этом дело.

— Тогда в чем же, Халлоран? — спросил Маккоркери, разливая виски. — Со мной — тебе ли не знать — можешь говорить начистоту. Тебе деньги нужны?

— Нет, — сказал мистер Халлоран. — Работа.

— А вот это дело другое, — сказал Маккоркери. — Что за работа?

Мистер Халлоран, голова у него ушла в плечи, увидел, как Маккоркери помахал рукой и кивнул парням — их было человек пять, они только что вошли и выстроились у стойки.

— Наши ребятишки, — сказал Маккоркери, — продолжай.

Лицо у него стало более жестким, холодным — похоже, выпивка помогла ему собраться. Мистер Халлоран сказал все, что надумал сказать, сказал уже по дороге сюда, и, по его, все по-прежнему выходило разумно, по делу. Маккоркери дал ему договорить, встал, положил руку Халлорану на плечо.

— Сиди тут, — сказал он и подтолкнул к нему бутылку, — и все, чего, Халлоран, ни захочешь, заказывай — запишут на мой счет. Я вмиг вернусь, и, ты же знаешь, если смогу, помогу.

Халлоран видел все, но глаза ему застил легкий парной туман, так что, когда Маккоркери снова прошел мимо него с ребятами, — все они шагали до жути тихо, точь-в-точь, как бандюги на темной улице, — он их, можно сказать, и не приметил. Они ушли в заднюю комнату, дверь отворилась,

блеснула полоска света и дверь закрылась, мистер Халлоран потянулся за бутылкой — надо же как-то скоротать время, а там и Маккоркери вернется, принесет хорошие вести. И так ему было покойно, легко — ни одна косточка, ни одна жилочка не ныли, только локоть возьми да и соскользни со стола раз, другой и виски выплеснулось на рукав. Маккоркери, скажи, ты всю семью в дело берешь? Ведь теперь и муж моей Мэгги у тебя в Малом Таммани. «Он башковитый паренек, Халлоран, далеко пойдет, я его давно заприметил», — по-свойски сказал голос Маккоркери у него в голове, и перед закрытыми глазами ясно встало смуглое лицо, помягче того, что помнилось ему.

— Что ж, через него и я как бы по-новой начну, — сказал мистер Халлоран вслух, — не считая, что я и сам с тобой поработаю, а ведь мог бы и все это время работать, надумай я прийти к тебе раньше.

«Правда твоя, — раздался у него в мыслях развеселый голос Маккоркери с выговором графства Мейо, — а теперь выпьем за все хорошее, что у нас будет, в память о том, что у нас было, и пошла она куда подальше, Лейси Махаффи». Мистер Халлоран потянулся к бутылке, но она, как живая,

отпрыгнула в сторону, так что не достать, и разлетелась вдребезги у его ног. Он встал, опрокинув стул, оперся о стол, — стол ушел из-под рук, ну прямо, как картонный.

— Ничего, ничего, погоди-ка, — тут откуда ни возьмись Маккоркери, взаправду он, подпер его с одного боку, знаком подозвал парней из задней комнаты — они по-тихому подошли к мистеру Халлорану, и двое-трое подхватили его с другого боку. С лица все они были ирландцы, но ни одного из этих ирландцев мистер Халлоран не знал, и ни одно из этих лиц не пришлось ему по душе.

— Попрошу без рук, — величаво сказал он. — Я пришел повидаться с Джералдом Маккоркери, моим старым другом, и не позволю бандюгам вроде вас меня и пальцем тронуть.

— А ну пошли, начальник, — сказал парень из тех, что помоложе, голос его резал уши, — пошли, пошли, а то больно засиделся.

— Ну и отребье ты подобрал, Маккоркери, — сказал мистер Халлоран, упираясь пятками, чтобы не поддаться парням: они подпихивали его к двери. — Я ни одному из них ну ни на столечко бы не доверил и не поверил.

— Да будет тебе, Халлоран, — сказал Маккоркери. — Пойдем. Отпусти его, Финнеган. — Он

подошел к мистеру Халлорану, сунул что-то в его правую руку. Деньги, хорошая пачечка, славные, гладкие, плотные бумажки, нет ничего приятнее на ощупь, ни с чем их не спутаешь. Да, вот уж этим-то он Лейси Махаффи проймет — как не пронять. Деньги эти честные, а в придачу к ним еще и работа.

— Маккоркери, твое слово, как и прежде, верное? — спросил он, вглядываясь в нависшее над ним лицо цвета булыжника, ноги его выписывали кренделя, сердце только что не разрывалось от благодарности.

— А то нет, а то нет, — зычно, сердечно, но не без досадливости сказал Маккоркери. — Уведите его, ну сколько можно.

И вот уже мистера Халлорана запихивали в стоявшее у обочины такси, а Маккоркери говорил с шофером и давал ему деньги.

— Прощевай, начальник, — сказал один из этих, с бандитскими рожами, и грохнул дверью такси.

Некоторое время мистер Халлоран покачивался на сиденье, собирался с мыслями. Потом подался вперед и обратился к водителю:

— Везите меня к дому моего друга Джералда Д. Маккоркери. У меня безотлагательное дело. Не-

важно, что он сказал. Везите меня к нему домой.

— Да ну? — сказал шофер, не поворачивая головы. — Так вот, вам выходить здесь, усекли? Здесь. — Он протянул руку назад и открыл дверь.

И где же мистер Халлоран очутился, как не перед своей квартирой на Перри-стрит, — один-одинешенек, вокруг только мусорные баки, такси гудело вовсю, огибало угол, а к мистеру Халлорану шел полицейский — ошибки быть не могло: его освещал фонарь.

— Голосуй за Маккоркери, друга бедняков, — сказал мистер Халлоран полицейскому. — Если кто нас выручит, так это Маккоркери. Стоит за старых дружков горой. Жена у него, Рози зовут. Отдай свой голос Маккоркери, — сказал мистер Халлоран, с ходу принимаясь за дело, — и станешь начальником полиции, если Халлоран замолвит о тебе слово.

— Да ну его, твоего Маккоркери, прихвостня этого, — сказал полицейский — рот у него закаменел, скривился: и от сказанного, и от того, что ему доводилось и видеть, и делать на своем участке. — Опять ты пьян в стельку, Халлоран, ни стыда, ни совести у тебя нет: Лейси Махаффи надрывается, гнет спину над гладильной доской, чтоб тебе на пиво заработать.

— Не пиво я пил и не на ее деньги, — сказал мистер Халлоран, — да и что ты-то знаешь о Лейси Махаффи?

— С Лейси я издавна знаком, с тех еще пор, как на посылках был в Обществе алтаря святой Вероники, — сказал полицейский, — она и тогда была замечательная. А уж взыскательная — ни приведи Господь.

— И сегодня такая же, — сказал мистер Халлоран и чуть было не протрезвел.

— Ты давай поднимайся и не выходи из дому — смотри, на кого похож, — укорил его полицейский.

— Ты Джонни Магиннис, — сказал мистер Халлоран. — Я ж тебя знаю.

— Еще бы тебе меня не знать, — сказал полицейский.

Мистер Халлоран вскарабкался, в основном на четвереньках, наверх, но, добравшись до своей двери, встал на ноги, трахнул по филенке кулаком, повернул ручку и вслед за дверью, точно на гребне волны, влетел в комнату, руку с деньгами протягивая к миссис Халлоран, — она уже перегладила белье и взялась за штопку.

Она мешкотно поднялась, прикрыла рот костлявой рукой, глаза у нее чуть не выскочили из

орбит, когда она увидела, что он принес.

— Ты их украл? — спросила она. — Убил кого-то из-за них? — невнятным шипом выползли из ее горла слова.

Мистер Халлоран перепугался, злобно зыркнул на нее.

— Ради всех святых, Лейси Махаффи, — заорал он так, что весь дом услышал, — ты что, совсем сдурела, не понимаешь, что муж твой наконец поймал удачу за хвост, работу получил и теперь у него начнется совсем другая жизнь? Украл, говоришь? Пусть крадут твои дружки Коннолли, которые в церкви днюют и ночуют. Коннолли, тот крадет, а Халлоран, он человек честный, работает на клуб Маккоркери, и у него деньги в кармане водятся.

— На Маккоркери, значит? — сказала миссис Халлоран, также не приглушая голоса. — Выходит, вся семья, и млад, и стар, и грешные и безгрешные, кормится из рук Маккоркери, — вот оно чем кончилось. Что до меня, то я из рук Маккоркери кормиться не стану, сама себя прокормлю, мне твои поганые деньги без надобности, Халлоран, а я словами не бросаюсь.

— Господи Иисусе, — взвыл мистер Халлоран, проковылял от двери к столу с гладильной доской

и встал там — от злости он едва не плакал, — бездушная ты, мужу поперек дороги становишься, даже когда он деньги да почет рванул, очертя голову, добывать, и они ему сами в руки плывут, и все останется шито-крыто.

— Ничуть я не бездушная, — возопила миссис Халлоран, кулаки сжаты, волосы разметались. — Не бездушная я, вот уж нет, и свою душу губить не стану, что б ты там ни выделывал…

Встала прямо перед ним — платье выцветшее, полосатое, ну саван и саван, омертвелые руки вздела, омертвелые глаза уставлены на него, хоть ничего и не видят, голос глухой, прямо-таки замогильный, осипший точно от гробовой сырости. Призрак Лейси Махаффи стращал, надвигался на него, все рос и рос, лицо его оборачивалось дьявольским обличьем, на нем застыла мертвенная ухмылка.

— Не евши, не пей, — рявкнул призрак.

У мистера Халлоран душа ушла в пятки — он завопил, схватил утюг с доски.

— Лейси Махаффи, чертовка ты, сгинь, чур, чур меня, — ревел он благим матом, но она плыла к нему, пола притом не касаясь, ухмылялась, рычала. Он занес утюг, швырнул, не целясь, и призрак, — кто б это ни был, что б это ни бы-

ло, — рухнул, сгинул. Он не стал смотреть, куда он делся, а бросился вон из комнаты и опомнился уже на улице — только тут до него дошло, почему он убежал. А Магиннис он тут как тут.

— Слышь, Халлоран, — сказал он. — На этот раз я не шучу. Возвращайся домой, не то я тебя замету. А ну пошли, я тебе помогу, отведу тебя, но это в последний раз. Это ж надо сидеть на пособии — и так надраться.

Мистер Халлоран отчего-то успокоился, опамятовался: он поведет Магинниса наверх, пусть посмотрит, что там и как.

— Я больше не на пособии, а если не хочешь нарваться на неприятности, позвони моему дружку Маккоркери. Он тебе растолкует, кто я есть.

— Что такого Маккоркери может о тебе рассказать, чего бы я сам не знал, — сказал Магиннис. — А ну встать. — Халлоран все порывался опуститься на четвереньки.

— Не трожь, — сказал мистер Халлоран и попытался сесть полицейскому на ноги. — Я наконец-то убил Лейси Махаффи, радуйся. — Он вскинул взгляд на полицейского. — Давно пора. Только денег я не крал.

— Экая досада, — сказал полицейский, продел руки ему подмышки, рывком поднял. — Господи,

чего бы тебе не работать как следует, когда такая возможность имелась? А ну, встать! Встань, тебе говорят, не то врежу.

Мистер Халлоран сказал:

— Хорошо, не веришь — сейчас увидишь сам.

Тут оба посмотрели вверх, и их глазам предстала миссис Халлоран — цепляясь за перила, она спускалась по лестнице, и даже при неровном коридорном свете у нее на лбу была видна огромная шишка всех цветов радуги. Она остановилась и, похоже, ничуть не удивилась.

— А, постовой Магиннис, — сказала она. — Отведите его наверх.

— Ну и ну, эк у вас лоб-то расшиблен, миссис Халлоран, — политично заметил Магиннис.

— Упала, ударилась головой о гладильную доску, — сказала миссис Халлоран. — А все отчего — гнешь спину с утра до ночи, покоя не знаешь, вот, постовой Магиннис, чувств и лишилась. А ты смотри, куда ножищи-то ставишь, круглый, набитый ты дурак, — это она уже к мистеру Халлорану отнеслась. — У него теперь — кто бы мог подумать — есть работа, постовой Магиннис, хотите верьте — хотите нет. Отведите-ка его наверх, спасибо вам.

Пошла впереди них, открыла дверь, кухней

провела их в спальню, отвернула покрывало, и постовой свалил мистера Халлорана поверх одеял и подушек. Мистер Халлоран истошно застонал, перекатился и закрыл глаза.

— Очень вам благодарная, постовой Магиннис, — сказала миссис Халлоран.

— Чего уж там, миссис Халлоран, — сказал постовой Магиннис.

Миссис Халлоран закрыла дверь, заперла ее на ключ, после чего намочила полотенце под кухонным краном. Отжала его, затянула на одном конце несколько узлов, хлестанула пару-тройку раз по краю стола — сделала проверку. Прошла в спальню, стала у кровати и что есть мочи стеганула мистера Халлорана узластым концом полотенца. Он ерзал, что-то бормотал — ему было тошно.

— Вот тебе за утюг, Халлоран, — сказала она, не повышая голоса, словно разговаривала сама с собой, — и — хлоп! — снова хлобыстнула его полотенцем. — Вот за полдоллара, — сказала она — хлоп! — вот за пьянство… — Ее рука равномерно взлетала, полотенце тяжело шлепалось о лицо Халлорана, он кривился, ловил ртом воздух, то отрывал голову от подушки, то снова ронял ее: не мог понять, за что такая мука. — Вот тебе

за то, что в одних носках ходишь, — говорила миссис Халлоран — хлоп! — за леность, за то, что на мессе не бываешь, за, — и с этими словами она хлестанула его раз шесть, — дочь твою, за то, что она в тебя пошла…

Отступила назад — запыхалась, шишка на ее лбу расцветилась еще больше. Мистер Халлоран, загораживая голову руками, попытался было приподняться, но она так пихнула его, что он снова рухнул на кровать.

— Не вставать, и чтоб тебя не слышно было, — сказала миссис Халлоран.

Он натянул подушку на голову и снова затих, на этот раз окончательно.

Миссис Халлоран размеренно передвигалась по комнате. Она обвязала голову мокрым полотенцем — узластый конец свесился ей на плечо. Рука ее юркнула в карман фартука и вынырнула оттуда с деньгами. Бумажкой в пять долларов, а в ней еще три бумажки по одному доллару и полдоллара, а она-то думала, Халлоран его давным-давно потратил.

— Для зачина могло быть и побольше, но все равно не прокидаешься, — сказала она и открыла дверь шкафа ключом с длинной бородкой. Засунула руку глубоко вовнутрь, вынула неплотно

пригнанную доску и извлекла черную железную коробку. Отперла ее, отыскала в мешанине купюр и монет пять центов. Затем положила сегодняшние деньги в коробку, закрыла ее, поставила назад, вернула доску на место, закрыла дверь шкафа, заперла его на ключ. Прошла к телефону, опустила пять центов в щель, назвала номер и стала ждать.

— Мэгги, это ты? Ну как, все образовалось? Рада слышать. Время для звонков позднее, но у отца новости. Нет, нет, ничего такого, он работу получил. Работу, говорю. Да, наконец-то, давно пора, уж сколько пришлось его усовещевать, уламывать… Я его уложила, пусть проспится, — ему же завтра на работу… Да, работа по политической части, выборы готовить с Джералдом Маккоркери. Но ничего плохого тут нет — голоса добывать и всякое такое, вдобавок на свежем воздухе будет, и мне со всяким сбродом не придется якшаться — ни сейчас, ни потом… Работа, можно сказать, чистая и платят хорошо, пусть и не такую я для него вымаливала, а все ж, Мэгги, лучше чем ничего. Я с ним столько намаялась… уж и надеяться перестала. Видишь, Мэгги, чего достичь можно, если терпишь и делаешь, что долг велит. И дай тебе Бог со своим мужем управиться не хуже моего.

Перевод Л. Беспаловой

Мудрость, нисходящая свыше[7]

В квадратной спальне с большим окном мама и папа, раскинувшись на подушках, передавали друг другу всякую всячину с широкого черного подноса на подставке с ножками крест-накрест. Они улыбались и разулыбались и вовсе, когда в комнату вошел мальчуган — из его волос и кожи еще не выветрился сон — и направился к кровати. Привалился к ней, не переставая жевать орешки, которые вынимал из пижамного кармашка, ворошил босыми пальцами белый мех ковра. Ему было четыре года.

— А вот и мой малышок, — сказала мама. — Подними его, будь добр.

Мальчуган обвис тряпочкой, чтобы папе сподручнее было подхватить его под мышки и перекинуть через широкую, крепкую грудь. Уютно пристроился между родителями, как медвежонок в теплой куче медвежат. Зажал зубами еще один орешек, скорлупа треснула, он извлек цельное ядрышко и съел.

---

[7] Примечания: 7

Аллюзия на библейское: «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская» (Иак. 3, 15).

— Опять он бегает босиком, — сказала мама. — У него ноги, как ледышки.

— Хрумкает, что твой конь, — сказал папа. — Если щелкать орехи натощак, недолго и желудок испортить. Где он только их берет?

— Орехи вчера принес ты, — сказала мама — она памятливая, — в мерзком целлофановом кульке. — Сколько раз тебя просила — не приносить ему ничего съестного. Ну-ка, убери его отсюда. Он меня засыпал скорлупой.

И чуть не тут же мальчуган снова очутился на полу. Он перешел на мамину сторону кровати, доверчиво припал к маме, сунул в рот другой орех. Жуя, сосредоточенно глядел ей в глаза.

— Светоч мысли, а? — папа выпрямил длинные ноги, потянулся за халатом. — Небось, скажешь, что он весь в меня, оттого и тупой, как баран.

— Он мой сыночек, сыночек мой единственный, — сказала мама грудным голосом и обняла его, — солнышко мое. — Прижала к себе, в ее крепких руках его шея, плечи обмякли. Он перестал жевать ровно на столько, чтобы она успела чмокнуть его в обсыпанный крошками подбородок.

— Он сладкий-пресладкий, — сказала мама.

Мальчуган снова принялся жевать.

— Нет, ты только посмотри на него — таращит-

ся, ну сова и сова.

Мама сказала:

— Он такая прелесть, какое счастье, что он у меня есть, никогда не смогу к этому привыкнуть.

— Лучше бы его у нас вообще не было, — сказал папа.

Папа расхаживал по комнате, и, когда он это сказал, мальчуган видел его со спины. Наступила тишина. Мальчуган перестал жевать, уставил на маму пристальный взгляд. Она буравила взглядом папин затылок, и глаза у нее стали почти совсем черными.

— Говори, говори, ты договоришься, — сказала она еле слышно. — Ненавижу тебя, когда ты так говоришь.

Папа сказал:

— Ты его вконец избалуешь. Никогда не одергиваешь. И не смотришь за ним. Позволяешь слоняться по комнатам, грызть орехи натощак.

— Не забывай, орехи ему дал ты, — сказала мама.

Она привстала, снова обняла мальчугана. Он легонько уткнулся ей в сгиб локтя.

— Беги, — сказала она нежно — ее улыбка оказалась прямо у его глаз. — Беги, — сказала она и разжала руки. — Тебя завтрак ждет.

Чтобы добраться до двери, мальчугану надо было миновать отца. Увидев занесенную над собой ручищу, он съежился.

— Убирайся-ка ты отсюда, чтоб я тебя больше не видел, — сказал папа и толканул его к двери. Толканул не сильно, но больно. Мальчуган выскользнул из комнаты, потопал по коридору, удерживал себя, чтобы не оглянуться. Боялся: что-то гонится за ним по пятам, но что — не мог вообразить. У него болело все, а отчего — он не знал.

Он не хотел завтракать — не хочет и не станет. Он мешал ложкой в желтой миске, жижа слетала с ложки и растекалась по столу, по его грудке, по стулу. Ему нравилось смотреть, как она растекается. Ужасная гадость, но она так забавно бежала белыми ручейками по пижаме.

— Смотри, что ты наделал, грязнуля, — сказала Марджори. — Грязнуля ты, вот кто ты есть.

Мальчуган открыл рот — в первый раз за все время.

— Сама ты грязнуля, — парировал он.

— Вот оно как, — Марджори пригнулась к нему, сказала тихо, чтобы ее не услышал никто, кроме него. — Вот оно как — весь в папашу. Вредный, — прошипела она, — вредный.

Мальчуган поднял желтую миску, до краев полную овсяных хлопьев со сливками и сахаром, и изо всех сил брякнул ее о стол. Месиво разлетелось — где валялось кусками, где разбрызгалось. Ему полегчало.

— Видишь? — Марджори сдернула его со стула, стала оттирать салфеткой. Терла грубо — и терла бы еще грубее, если б не побаивалась, — пока он не закричал. — Ну вот, я же говорила. Вот оно, то самое. — Сквозь слезы он видел ее лицо, до ужаса близкое, красное, насупленное под стоящей торчком белой наколкой, — точь-в-точь такое лицо было у человека, который склонялся над ним по ночам и ругательски ругал, а он не смел ни шелохнуться, ни убежать. — Весь в папашу, вредный.

Мальчуган вышел в сад, сел на зеленую скамейку, — болтал ногами. Его отмыли. Волосы у него были мокрые, от синего шерстяного свитерка в носу свербело. Лицо стянуло от мыла. Он видел, как мимо окна прошла Марджори — она несла черный поднос. Занавески в маминой комнате были все еще задернуты. В папиной комнате. Мамыпапиной комнате — приятное слово, оно шлепало, хлопало по губам, крутилось у него в голове, а глаза его тем временем бегали по сторонам

в поисках, чем бы заняться, чем бы поиграть.

Он все прислушивался к мамыпапиным голосам. Мама опять гневалась на папу. Он и без слов, по звуку, всегда это распознавал. Так, когда их голоса взлетали и падали, поднимались высоко-высоко, и сникали, и перекатывались точно коты, сцепившиеся в темноте, всегда говорила Марджори. Папа тоже гневался, и на этот раз еще пуще мамы. Мальчуган озяб, растревожился, боялся пошевелиться, ему хотелось в уборную, но она была рядом с мамыпапиной комнатой, и он и думать не смел о том, чтобы пойти туда. Когда голоса зазвучали еще громче, он их уже почти не слышал: ему невтерпеж как занадобилось в уборную. Но тут кухонная дверь распахнулась, и в сад выбежала Марджори, она делала знаки, подзывала его. Он не сдвинулся с места. Она подошла к нему, все еще раскрасневшаяся, насупленная, но больше не сердилась: перепугалась не меньше его. Она сказала:

— Идем, золотко, нас сызнова отправляют к бабушке. — Взяла его за руку, потянула. — Идем-ка быстренько, бабушка тебя ждет.

Он соскользнул со скамейки. Материнский голос перерос в пугающий крик, она что-то выкрикивала — что он понять не мог, ясно было

только: она в бешенстве; ему случалось видеть, как она сжимает кулаки, топает ногой, закроет глаза и кричит, он представлял, какой у нее при этом вид. Она заходилась криком, и он помнил, что, бывало, и сам так кричал. Он замер на месте, согнулся пополам, тело его, похоже, гадостно утекало из низа живота.

— Господи! — сказала Марджори. — Господи Боже. Нет, посмотрите-ка на него. Господи! Знай поспевай тебя отмывать.

Как он попал в бабушкин дом, он не помнил, но, в конце концов, мокрый, замурзанный, очутился там: его, пересиливая брезгливость, отмывали в большой ванне. Бабушка в длинных черных юбках была тут же, она говорила:

— А что, если он заболел, а что, если ему нужен врач?

— Вряд ли, мэм, — сказала Марджори. — Он ничего не ел; просто напугался.

Мальчуган не мог поднять глаз — так они отяжелели от стыда.

— Отнесите эту записку его матери, — сказала бабушка.

Расположась в разлапом кресле, она проводила рукой по его голове, расчесывала волосы пальцами; подняла подбородок, поцеловала его.

— Бедный малыш, — сказала она. — Не огорчайся. У бабушки тебе всегда хорошо, ведь так? Ты у меня славно погостил в прошлый раз, и в этот раз будет не хуже.

Мальчуган прислонился к жестким, пахнущим сухостью юбкам — его отчего-то пронзило острое чувство горя. Он захныкал и сказал:

— Я голодный. Есть хочу.

И сразу все вспомнил. Завопил во все горло; упал на ковер, зарылся носом в пыльный шерстистый букет роз.

— Хочу орехов, — вопил он. — Кто забрал мои орехи? Бабушка опустилась обок его на колени, стиснула так, что он не мог пошевелиться. И, перекрывая его вопли своим спокойным голосом, наказала старой Дженет — та стояла в дверях:

— Принесите хлеб, масло и клубничное варенье.

— Хочу орехов, — надрывался мальчуган.

— Да нет же, миленький, — сказала бабушка. — Зачем тебе эти гадкие орехи — от них тебе худо. Сейчас ты поешь бабушкин свежий хлебушек с вкусной клубничкой. Вот что ты поешь.

После этого он успокоился, принялся за еду и все ел и ел. Бабушка сидела подле него, старая Дженет стояла у окна, возле столика, на котором

стояли поднос с хлебом и стеклянная вазочка с вареньем. За окном виднелся трельяж, оплетенный красными цветами граммофончиков, над ними жужжали пчелы.

— Не возьму в толк, что и делать, — сказала бабушка, — все так…

— Да уж, мэм, — сказала Дженет, — все и впрямь…

Бабушка сказала:

— Бог знает, чем это кончится. Это ж ужас что…

— И впрямь — чего хорошего, — сказала Дженет, — когда что ни день раздрай, и добро б еще он постарше был.

Они говорили и говорили, голоса их журчали успокоительно. Мальчуган ел и забыл и думать о них. Он знал, как зовут этих женщин, а больше ничего про них не знал. Он не понимал, о чем они говорят; и руки, и платья, и голоса у них были холодные, далекие; они рассматривали его сощуренными глазами без всякого выражения, по крайней мере, он его не различал. Он сидел — ждал, что они будут делать с ним дальше. Надеялся, что его выпустят поиграть. Окна в комнате с бордовыми занавесками, уставленной множеством цветов и большими мягкими крес-

лами, отворили настежь, и все равно в ней стоял полумрак — эта комната была ему незнакома, и он ожидал от нее подвоха.

— Пей-ка молоко, — сказала Дженет и поднесла к его рту серебряную чашку.

— Не хочу я молока, — сказал он, отворачиваясь.

— Пусть его, Дженет, не надо заставлять, — поспешила вмешаться бабушка. — А теперь, миленький, беги-ка в сад. Дженет, достаньте его обруч.

По вечерам приходил рослый незнакомый мальчугану дядька, его обхождение ставило мальчугана в тупик.

— Говори «пожалуйста» и «спасибо», юноша, — рявкал он, нагоняя страх, даже если давал самую что ни на есть ерунду. — Ну как, юноша, к бою готов? — спрашивал он, сжимая волосатые кулачищи, и делал выпады. — Давай, давай, учись боксировать — пригодится.

— Не делай из него грубияна, — сказала бабушка. — Еще успеется.

— Мама, ты же не хочешь, чтобы он вырос слюнтяем, — сказал дядька. — Закаляться надо сызмала. А ну-ка, юноша, поднимай клешни.

Мальчугану понравилось, что руки можно

называть по-новому. Он научился кидаться на незнакомого дядьку — его звали дядя Дэвид, — бить, насколько хватало сил, кулаком в грудь; дядька хохотал, в свою очередь бил его дряблыми волосатыми кулачищами. Случалось и так — правда, не часто, — что дядя Дэвид приходил домой среди дня. В другие дни мальчуган без него скучал и болтался у ворот, выглядывая, не покажется ли тот вдали. Однажды вечером дядя Дэвид принес под мышкой большую квадратную коробку.

— Поди-ка сюда, юноша, посмотри, что у меня тут, — сказал он и сдернул с коробки веревку и зеленую обертку — коробка была доверху набита плоскими, свернутыми штуковинами. — Дядя Дэвид положил одну из них мальчугану в руку. Мягкая, шелковистая, ярко-зеленая, она оканчивалась трубочкой.

— Спасибо, — мальчуган поблагодарил как положено, но что делать со штуковиной, не знал.

— Воздушные шары, — торжественно объявил дядя Дэвид. — Приложи-ка трубочку к губам и дунь хорошенько.

Мальчуган дул изо всех сил, и зеленая штуковина все больше округлялась, утоньшалась, серебрилась.

— Развивает грудную клетку, — сказал дядя Дэвид. — Дуй еще. Мальчуган дул и дул, и шар становился все больше.

— Довольно, — сказал дядя Дэвид. — Хватит. — И закрутил трубочку, чтобы из нее не вышел воздух. — Вот как это делается, — сказал он. — А теперь давай надуем я один, ты другой, посмотрим, кто быстрее.

Они дули и дули, дядя Дэвид, тот особенно старался. Он и сопел, и пыхтел, и дул что есть мочи, но мальчуган его опередил. Дядя Дэвид еще толком не приступился, а у мальчугана шар уже стал круглый-прекруглый. Он до того загордился, что пустился в пляс, выкрикивая:

— Моя взяла, моя взяла, — и снова дунул в трубочку. И тут шар как лопнет; он до того напугался, что его замутило.

— Ха-ха, хо-хо-хо, — веселился дядя Дэвид. — Молодчага. У меня бы так нипочем не вышло. Давай-ка, попробуем. — Он стал дуть в трубочку — и красивый шар рос-рос, заколыхался и лопнул — в руке у него остался лишь яркий обрывок резины. Вот это игра так игра. Они играли до тех пор, пока не пришла бабушка и не сказала:

— Пора ужинать, Нет, нет, за столом надувать шары нельзя. А завтра посмотрим.

И тем все кончилось.

Назавтра шаров ему не дали, вместо этого спозаранку подняли с постели, искупали в теплой мыльной воде и накормили сытным завтраком: яйца всмятку, тосты, варенье, молоко. Бабушка пришла поцеловать его и поздороваться.

— Надеюсь, ты будешь хорошим мальчиком, будешь слушаться учительницу.

— Учительница — это что такое? — спросил мальчуган.

— В школе у тебя будет учительница, — сказала бабушка. — Она тебе расскажет про самые разные вещи, а ты делай все, что она велит.

Мама и папа много говорили про школу и про то, что им придется его туда отдать. Они рассказывали, что это чудо что такое — там всякие, какие только ни пожелаешь, игрушки и много детей, и с ними можно играть. Он считал, что ему все про школу известно.

— Бабушка, а я и не знал, что мне пора в школу, — сказал он. — Мы сегодня туда пойдем?

— Прямо сейчас, — сказала бабушка. — Я же тебя еще неделю назад предупредила.

Пришла старая Дженет, уже при шляпе. Шляпа, смахивавшая на колючее гнездо, держалась на голове пропущенной под пучок резинкой.

— Идем, — сказала Дженет. — У меня сегодня дел невпроворот.

Шею Дженет обернула дохлой кошкой, отвислые подбородки старухи примяли острые кошкины ушки.

Мальчик был взбудоражен, рвался вперед.

— Сказано тебе, держи меня за руку, — велела Дженет. — Не убегай вперед — задавят.

— И пусть задавят, пусть задавят, — выпевал мальчуган на свой собственный мотив.

— Ты что это такое поешь, у меня прямо мурашки по коже, — сказала Дженет. — Держи меня за руку, вот так. — Она пригнулась и посмотрела, но не на его лицо, а на брюки. Он проследил за ее взглядом.

— Ну и ну, — сказала Дженет. — Совсем запамятовала. И ведь хотела же зашить. Знала наперед, что так выйдет. Говорила же бабушке, что так выйдет.

— Что выйдет? — спросил мальчуган.

— Да ты посмотри на себя, — рассердилась Дженет.

Он посмотрел. Из прорешки синих шерстяных штанишек торчал кончик. Штанишки оканчивались выше колен, носки ниже колен, и всю зиму у него мерзли коленки. Он вспомнил, как мерзли

коленки в холодную погоду. И как ему порой приходилось прятать кончик, когда тот вылезал из прорешки, потому что кончик тоже мерз. Он сразу смекнул, что не так, и попытался привести себя в порядок, да мешали рукавички.

Дженет сказала:

— Чтоб этого не было, паршивец, — жестким пальцем вправила кончик в прорешку и одновременно, засунув руку ему под пояс, одернула нательную фуфаечку и подпустила ее под прорешку.

— Ну вот, — сказала Дженет, — постарайся сегодня не осрамиться. Он застыдился, вспыхнул, оттого что у него имелась такая штука, которая высовывалась, когда он одет, а ей высовываться не положено. Разные тетки, когда купали его, всегда торопились обернуть его полотенцами и натянуть на него одежки: что-то такое они у него замечали, чего сам он не замечал. Они одевали его в страшном спехе, и у него ни разу не было случая рассмотреть, что же там такое они у него замечают, и хотя он разглядывал себя, когда был одет, но так и не разглядел, что же у него не так. Снаружи, одетый, он был такой же, как все, — это он знал, но внутри, под одеждой, что-то у него не так, неладно. Это не давало ему покоя, сбивало

с толку, и он ломал над этим голову. Вот мама с папой, они, похоже, ничего неладного не замечали. Они никогда не называли его паршивцем, летом снимали с него все-все одежки и пускали бегать нагишом по песку вдоль океана, которому не было ни конца, ни края.

— Посмотри, ну не прелесть ли он? — говорила мама, а папа смотрел на него и говорил: — Спина у него прямо-таки боксерская.

Но кто был боксер, так это, — когда он сжимал клешни и говорил: «А ну-ка, юноша, начнем», — дядя Дэвид.

Дженет, крепко держа его за руку, широко расставляла ноги под просторными шуршащими юбками. Ему не нравилось, как она пахнет. От этого запаха подкатывала тошнота: так пахли мокрые куриные перья. В школе ничего особо сложного не было. Учительница, тетка с тяжелой фигурой и тяжелыми коротко обрубленными волосами в короткой юбке, иногда мешала им, но не часто. Все в школе были его роста, и не приходилось то и дело задирать голову, чтобы поглядеть в лицо тому, кто к нему наклонялся, и на стул можно было просто сесть, а не вскарабкиваться. Ребят звали Франсес, Ивлин, Агата, Эдвард, Мартин, его звали Стивен. А не «деткой»,

как мама, «стариком», как папа, «юношей», как дядя Дэвид, «солнышком», как бабушка, а то и «паршивцем», как старая Дженет. Он был Стивен. Он учился читать и петь по диковинным буковкам или значкам — их писали мелом на доске. Одни буковки выговаривали, другие — пели. Выговаривали и пели сначала по очереди, потом вместе. Стивену эта игра пришлась по вкусу. Он сразу приободрился и повеселел. Им дали мягкую глину, бумагу, проволочки, яркие краски-квадратики в жестяных коробочках — ими играли, и цветные кубики — из них строили домики. После этого они все танцевали, сначала вставши в круг, потом парами, мальчики с девочками. Стивен танцевал с Франсес, и Франсес заладила:

— Делай все точь-в-точь, как я.

Она была чуть повыше его, и волосы ее — короткие, блестящие кудряшки цвета пепельницы на папином столе — стояли торчком. Она твердила:

— Ты не умеешь танцевать.

— И вовсе умею, — говорил Стивен и держал ее за руки, и прыгал вокруг нее, — и умею вовсе. — У него не было никаких сомнений на этот счет. — Это ты не умеешь танцевать, — говорил он Франсес, — это ты не умеешь танцевать совсем.

Потом им нужно было поменять партнеров, а,

когда им снова пришел черед танцевать вместе, Франсес сказала:

— Мне не нравится, как ты танцуешь.

А вот это уже меняло дело. Ему стало не по себе. И, когда патефон снова заиграл «Там-тара-там, там-тара-там», он уже прыгал не так высоко.

— Ну же, Стивен, у тебя хорошо получается, — сказала учительница — она очень быстро размахивала двумя руками сразу. Танец закончился, и они еще минут пять играли в «отдыхаем-отдыхаем». Отдыхали они так — болтали руками взад-вперед и крутили головами. Когда Дженет пришла за ним, ему не захотелось идти домой. За обедом бабуля дважды выговорила ему за то, что он окунает лицо в тарелку.

— Это тебя в школе такому учат? — сказала она.

Дядя Дэвид был дома.

— А вот и ты, юноша, — сказал он и дал Стивену два шарика.

— Спасибо, — сказал Стивен. Сунул шары в карман и забыл про них.

— Говорил же я тебе, что малый обучаем, — сказал дядя Дэвид бабушке. — Слышала — он сказал: «Спасибо»?

Днем, в школе, учительница раздала большие

комки глины и велела вылепить из них что-нибудь. Все, что угодно. Стивен решил вылепить кошку, такую, как мамина Мяучка у них дома. Мяучку он не любил, но подумал, что кошку вылепить проще простого. Однако глина никак не лепилась. Распадалась на комки. И он бросил лепить, обтер руки о свитер, вспомнил про шарики, взял один и стал надувать.

— Поглядите на Стивенову лошадку, — сказала Франсес. — Нет, вы только поглядите.

— Это не лошадка, это кошка, — сказал Стивен.

Дети столпились вокруг них.

— Похоже на лошадку, совсем немножечко похоже, — сказал Мартин.

— Это кошка, — сказал Стивен и топнул ногой — он чувствовал, что лицо у него горит.

Дети засмеялись, заахали над Стивеновой кошкой, походившей на лошадку. Учительница подошла к ним. Так-то она сидела у входа в комнату за большим столом, заваленном бумагами и всякими штуками для игры. Она взяла у Стивена комок глины, вертела, разглядывала — глаза у нее были добрые.

— Вот я вам что скажу, дети, — объявила она, — каждый может делать все, как ему нравится. Если Стивен говорит, что это кошка, значит — это

кошка, но, может быть, ты, Стивен, все время думал о лошадке?

— Это кошка, — сказал Стивен. Он исстрадался. Понимал — надо было сразу же сказать: «Да, это лошадь». И тогда его оставили бы в покое. Им бы нипочем не догадаться, что он пытался вылепить кошку. — Это Мяучка, — голос у него дрожал, — просто я забыл, какая она из себя.

Шар его опал. Он снова взялся его надувать, изо всех сил сдерживая слезы. А там настало время идти домой, и за ним пришла Дженет. Учительница была занята: забирать детей пришли и другие взрослые, — она говорила с ними, и Франсес сказала ему:

— Дай мне твой шарик; у меня нет шарика.

Стивен отдал ей шарик. Он был рад, что может дать ей шарик. Сунул руку в карман, вынул другой шарик. Рад-радехонек, отдал ей и этот. Франсес взяла шарик, потом отдала обратно.

— Давай ты будешь надувать один, я другой — наперегонки, — сказала она.

Они надули шарики до половины, но тут Дженет взяла Стивена за руку и сказала:

— А ну пошли, у меня сегодня дел невпроворот.

Франсес припустила за ними, кричала:

— Стивен, отдай мой шарик, — и выхватила у него шарик.

Стивен не понимал, чем он ошарашен — тем ли, что унес шарик Франсес, или тем, что она выхватила шарик, точно он и впрямь ее. Мысли в нем мешались, он волочился вслед за Дженет. Но одно он знал твердо: Франсес ему нравится, завтра он ее снова увидит и принесет ей еще шарики.

Вечером Стивен немножко побоксировал с дядей Дэвидом, и дядя Дэвид дал ему вкусный апельсин.

— Ешь, — сказал дядя Дэвид. — Он полезный.

— Дядя Дэвид, вы не дадите мне еще шариков? — попросил Стивен.

— А что надо сказать? — спросил дядя Дэвид и протянул руку к коробке на верхней полке.

— Пожалуйста, — сказал Стивен.

— Вот так-то, — сказал дядя Дэвид.

Он вынул из коробки два шарика, красный и желтый. И тут только Стивен заметил, что на них нарисованы маленькие буковки, и чем больше надувается шарик, тем буковки становятся крупнее и круглее.

— Все, юноша, хватит, — сказал дядя Дэвид. — И больше не проси, потому что хватит значит

хватит.

Он поставил коробку обратно на полку, но Стивен успел разглядеть, что в коробке полным-полно шариков. Он ничего не сказал, продолжал надувать свой шарик, дядя Дэвид надувал свой. И Стивен решил, что лучше игры просто нет.

К завтрашнему дню у него остался всего один шарик, но он взял его в школу и отдал Франсес.

— У меня их видимо-невидимо, — сказал Стивен: он был и горд, и счастлив. — Я их все-все принесу тебе.

Франсес дула изо всех сил, шарик получился очень красивый, и она сказала:

— Смотри, я тебе что покажу. — Взяла острую палочку — ими мяли глину, — ткнула в шарик, и он лопнул. — Видал? — сказала она.

— Ну и пусть, — сказал Стивен. — Я принесу тебе еще.

После школы — дядя Дэвид еще не вернулся, бабушка отдыхала, а старая Дженет, напоив его молоком, велела уйти из кухни и не болтаться под ногами, — Стивен подтащил к книжной полке стул, встал на него, залез в коробку. И вынул не три-четыре шарика, как — так ему верилось — намеревался; стоило ему до них дотронуться, и он схватил столько, сколько смог удержать, и,

прижимая шарики к груди, спрыгнул со стула. Затолкал шарики в карман курточки, они там примялись и почти не выпирали.

Все шарики до одного он отдал Франсес. Их было много-много. Франсес большую часть раздала другим детям. Стивен разрумянился: ему была внове утеха расточителя — осыпать подарками, и он чуть ли не сразу открыл для себя еще одну радость. Внезапно он сделался всеобщим любимцем: какие бы игры ни затевались, его особо приглашали участвовать в них; на любую игру, какую бы он ни предлагал, все сразу соглашались, спрашивали, чем бы еще ему хотелось заняться. Дети показывали друг другу, как надувать шары, и те становились больше, круглее, тоньше и меняли цвет; яркие краски светлели, размывались, шар становился прозрачным как стекло, как мыльный пузырь, — от этого захватывало дух, — и тут-то он лопался и слышался громкий, совсем как выстрел игрушечного пистолета, хлопок.

Впервые в жизни у Стивена было все, что он хотел, и даже с лихвой, у него вскружилась голова, и он забыл, откуда такая благодать, и не считал больше нужным держать это в тайне. На следующий день было воскресенье, и к нему в гости пришла Франсес с няней. Няня и старая

Дженет сидели у Дженет в комнате, пили кофе и перемывали косточки хозяевам, а дети сидели на торцевой террасе — надували шары. Стивен выбрал яблочно-зеленый, а Франсес — салатный. Между ними на скамейке кучей лежали шары — сколько удовольствия их ждало впереди.

— А у меня как-то раз был серебряный шар, — сказала Франсес, — ох и красивый, весь серебряный, и не круглый, как эти, а длинный. Но эти, пожалуй, еще лучше, — добавила она: знала, как подобает вести себя благовоспитанной девочке.

— Когда надуешь этот, — Стивен не сводил с нее глаз: какое счастье не только любить, но еще и одаривать, — можешь надуть синий, потом розовый, потом желтый, потом лиловый. — Он пододвинул к ней кучку сморщенной резины.

Ее ясные глаза в коричневых, точно колесные спицы, лучиках, одобрительно смотрели на Стивена.

— Ну что ты, я не жадная, и не хочу надуть одна все твои шарики.

— У меня их, знаешь, сколько еще осталось, — сказал Стивен, и сердце его под тонкими ребрышками заколотилось. Он потрогал ребра пальцами и немало удивился, обнаружив, что они кончаются в середине груди. Франсес тем временем

надувала шары уже чуть ли не через силу. По правде говоря, шары ей прискучили. Надуешь шесть-семь — и в груди пустота, а губы запеклись. Она надувала шары три дня кряду. И не чаяла, чтобы их запас иссяк.

— У меня, Франсес, их, этих коробок с шарами, не счесть сколько. — Стивен был на седьмом небе. — Миллион миллионов. Их нам, пожалуй что, надолго хватит, если каждый день надувать не очень помногу.

Франсес не слишком решительно предложила:

— Знаешь что. Давай немножко передохнем и выпьем лакричной водички? Любишь лакричку?

— Да, — сказал Стивен. — Только у меня ее нет.

— А что если купить немножечко? — спросила Франсес. — Палочка лакрички, такой вкусной, крученой, тянучей, стоит всего цент: Ее надо положить в бутылочку с водой, потрясти хорошенько, она вспенится, все равно как газировка, — и ее можно пить. Пить хочется, — сказала она жалостно, слабым голоском. — Вон сколько шаров мы надули, поневоле пить захочется.

Стивен молчал, осознавал, что дело швах, и мало-помалу его охватило оцепенение. Купить лакрицу для Франсес ему было не на что, а ша-

рики ей прискучили. Так впервые в жизни его постигло настоящее горе. За минуту он постарел, по меньшей мере, на год: сгорбился, скосил глубокие, задумчивые, синие глаза на нос, погрузился в свои мысли. Что бы такое сделать, на что денег не нужно, а Франсес бы понравилось? Только вчера дядя Дэвид дал ему пять центов, а он потратил их на жвачку. И так ему стало жаль эти пять центов, что шея и лоб у него взмокли. И пить захотелось, и ему тоже.

— Я тебе вот что скажу, — он приободрился: ему пришел в голову замечательный выход, но, пораскинув умом, он неловко оборвал фразу. — Я знаю, что мы сделаем, я… я…

— А я хочу пить. — Франсес мягко, но упорно гнула свою линию. — Я хочу пить, и мне, наверное, придется уйти домой.

Встать однако она не встала — так и сидела, обратив к Стивену огорченный ротик.

От рискованности предстоящего приключения Стивена била дрожь, но он храбрился:

— Я приготовлю лимонад. Достану сахар, лимон, и мы попьем лимонаду.

— Лимонад я люблю, — обрадовалась Франсес. — Лимонад еще лучше, чем лакричка.

— Ты оставайся здесь, — сказал Стивен, — я все

достану.

Он обежал дом, из окна Дженет доносились скрипучие голоса двух старух — ему предстояло перехитрить их. Он на цыпочках прокрался в буфетную, взял одиноко лежащий лимон, пригоршню кускового сахара и фарфоровый чайник, глянцевитый, круглый, сплошь в цветах и листьях. Положил все на кухонный стол, а сам острым топориком — его было строго-настрого запрещено трогать — отбил кусок льда. Положил лед в чайник, разрезал лимон и выжал, насколько хватило сил; лимон оказался на удивление твердым и скользким, налил воду, размешал сахар. Решил, что сахару маловато, юркнул обратно в буфетную, зачерпнул еще пригоршню. Вернулся на террасу, поразившись, до чего же быстро обернулся; и — лицо настороженное, поджилки трясутся, — обхватив чайник обеими руками, преданно понес холодный лимонад томимой жаждой Франсес.

В шаге от нее он остановился — его буквально пронзила мысль. Вот он здесь на виду, несет чайник с лимонадом, а из двери того и гляди выйдет, если не бабуля, так Дженет.

— Франсес, а Франсес, — громким шепотом позвал он. — Пойдем за террасу, там позади розовых

кустов тень. — Франсес прыгнула, сорвалась с места что твоя лань, судя по лицу, она понимала, почему они убежали с террасы; Стивен осторожно перебирал ногами, бережно стискивая чайник обеими руками.

За розовыми кустами было прохладно и куда безопаснее. Они сидели рядышком на сыроватой земле, подогнув под себя ноги, и по очереди пили из тонкого носика. Стивен свою долю пил большими холодными вкуснющими глотками. Франсес пила, изящно обхватив носик розовыми губками, и горло ее трепыхалось ровно, как сердце. Стивен думал, что наконец-то он по-настоящему ублажил Франсес. Стивен не знал, отчего он так счастлив; к счастью примешивались кисло-сладкий вкус во рту и холодок в груди, оттого что Франсес рядом и пьет лимонад, который он, презрев опасности, добыл для нее.

Франсес сказала:

— Ой-ей, как много ты глотаешь зараз, — когда настал его черед приложиться к носику.

— Не больше тебя, — сказал он ей напрямик. — Сама-то ты вон по скольку глотаешь.

— Ну и что, — сказала Франсес так, словно его замечание лишь подтвердило ее тонкое знание приличий, — лимонад так и полагается пить. —

Она заглянула в чайник. Там оставалось еще много лимонада, и она чувствовала, что с нее довольно. — Давай играть в кто больше глотнет.

Затея оказалась такой увлекательной, что они разрезвились, забыли об осторожности, поднимали чайник высоко и лили из носика в открытый рот до тех пор, пока лимонад не стекал ручейками с подбородка на грудь. Потом и эта затея им приелась, а лимонад в чайнике все не кончался. Тогда они надумали попоить лимонадом розовый куст, а потом и окрестить его.

— Вымя отца, сына и святодуха, — выкрикивал Стивен, поливая куст.

На крик над низкой живой изгородью возникло лицо Дженет, а над ее плечом нависало пожолклое сердитое лицо няньки Франсес.

— Я наперед знала, что так и будет, — сказала Дженет. — Знала: ничего другого от него ожидать не приходится. — Мешочки под ее подбородком тряслись.

— Нам захотелось пить, — сказал Стивен, — просто невтерпеж как.

Франсес ничего не сказала, потупясь, разглядывала носки своих туфелек.

— А ну дай сюда чайник, — Дженет вырвала чайник у него из рук. — Еще чего, пить им захоте-

лось. Понадобилось что — спроси. Тогда и красть будет не резон.

— Мы не крали, — выпалила Франсес. — Нет! Нет!

— Нишкни, чтоб я тебя больше не слышала, — сказала нянька Франсес. — А ну, поди сюда. Тебя это не касаемо.

— Не скажите, — Дженет пронзила няньку Франсес взглядом… — Он ничего такого сам по себе отродясь не делал.

— Пошли, — велела нянька Франсес, — тебе здесь нечего делать. — Она схватила Франсес за руку и пошла прочь да так быстро, что Франсес, чтобы поспеть за ней, пришлось припустить. — Ишь чего надумала, ворами нас обзывать!

— А тебе воровать не резон, пусть даже другие всякие и воруют, — сказала старая Дженет так громко, чтобы ее было слышно как можно дальше. — Возьми ты хоть лимон в чужом доме, все равно ты воришка. — Тут она снизила голос: — Ужо погоди, я бабушке-то скажу, ох и достанется тебе.

— Забрался в ледник, дверцу не закрыл, — оповестила бабушку Дженет, — и в сахарницу залез, весь пол сахаром засыпал. То и знай на сахар наступаешь. Весь пол в кухне — а ведь какой

чистый был — водой залил да еще розовый куст окрестить вздумал, святотатец. Мало того — ваш споудовский[8] чайник взял.

— Не было этого, — завопил Стивен и попытался вырвать руку, но куда там — большой корявый кулак Дженет крепко сжимал ее.

— Врать-то не надо, — сказала Дженет, — мало ты что ли напрокудил.

— Господи, — сказала бабушка. — Он ведь уже не маленький. — Она читала книгу, но тут закрыла ее и притянула его за мокрую грудку свитера к себе. — Чем это таким липким ты облился? — спросила она, поправляя очки.

— Лимонадом, — сказала Дженет. — Последний лимон перевел.

Его привели в большую сумрачную комнату с бордовыми занавесками. Из комнаты, где книжные шкафы, вышел дядя Дэвид — в вытянутой вверх руке он нес ящик.

— Куда подевались все мои шары?

Стивен отлично понимал, что дяде Дэвиду ответ известен и без него. Он притулился на скамеечке у бабушкиных ног — его клонило ко сну. Привалился к бабушкиной ноге, ему смерть

---

[8] Примечания: 8

Марка тонкого фарфора. Называется по имени основателя фирмы Джозайи Споуда (1754–1827).

как хотелось положить голову ей на колени, но тогда он, пожалуй что, и заснет, а заснуть, когда дядя Дэвид говорит, никак нельзя. Дядя Дэвид расхаживал по комнате, засунув руки в карманы, и разговаривал с бабушкой. Время от времени он подходил к лампе, наклонялся, жмурясь от света, заглядывал в круглую прорезь наверху абажура: что, интересно, он ожидал там найти?

— Это у него в крови, сказал я ей, — говорил дядя Дэвид. — Я сказал, что ей придется приехать, забрать его и держать при себе. Она спрашивает, что ж я вором, что ли, его считаю, а я говорю, если ты знаешь, как это иначе называется, сообщи мне, скажу спасибо.

— Зря ты так сказал, — невозмутимо заметила бабушка.

— Это еще почему? Пусть знает, что и как… Похоже, он ничего не может с собой поделать, — сказал дядя Дэвид — он остановился перед Стивеном и уткнулся подбородком в воротник. — Я знал, что ничего путного из него не выйдет, но уж больно рано он начал…

— Беда вот в чем… — сказала бабушка и подняла Стивену подбородок так, чтобы он смотрел ей в глаза; говорила она ровно, плачевным тоном, но Стивен ее не понимал. Закончила она так: — И

дело, разумеется, не в шарах.

— И в шарах, — вскипел дядя Дэвид, — и вот почему: сегодня шары, завтра кое-что похуже. Впрочем, чего от него и ждать? При таком-то отце — это у него в крови. Он…

— Ты говоришь о муже твоей сестры, — сказала бабушка. — Зачем ты так — ни к чему это, все и без того плохо. Кроме того, на самом деле тебе ничего точно не известно.

— Очень даже хорошо известно, — сказал дядя Дэвид.

И опять заходил взад-вперед по комнате, заговорил быстро-быстро. Стивен пытался понять, что он говорит, но слова звучали незнакомо и пролетали где-то над головой. Они говорили об отце — он им не нравился. Дядя Дэвид подошел, навис над Стивеном и бабушкой. Пригнулся к ним, брови сдвинуты — его длинная скрюченная тень протянулась через них аж до стены. До чего ж похож на отца, подумалось Стивену, и он вжался в бабушкины юбки.

— Что с ним делать — вот в чем вопрос, — сказал дядя Дэвид, — если оставить его здесь, он нам будет… Словом, мне такая обуза ни к чему. Они что, не могут сами позаботиться о своем ребенке? Сумасшедший дом, вот что это такое. Жаль, но

ничего уже не исправить. Воспитывать его некому. Брать пример ему не с кого.

— Ты прав. Пусть забирают его и держат дома, — сказала бабушка. Она провела руками по голове Стивена; ласково прихватила большим и указательным пальцем кожу на затылке.

— Солнышко ты бабушкино, — сказала она. — Ты погостил у нас, славно погостил, долго, а теперь поедешь домой. С минуты на минуту за тобой приедет мама. Вот хорошо-то, правда?

— К маме хочу, — Стивен захныкал: бабушкино лицо его испугало. Улыбка у нее была какая-то не та.

Дядя Дэвид сел.

— Поди-ка сюда, юноша, — и он поманил Стивена пальцем. Стивен медленно подошел к нему, дядя Дэвид притянул его к себе, поставил между широко расставленных колен в просторных кусачих брюках. — И тебе не стыдно, — сказал он, — красть шары у дяди Дэвида, мало он тебе дал шариков?

— Не в этом дело, — поспешно оборвала его бабушка. — Не говори так. У него отложится в памяти…

— Очень на это надеюсь, — дядя Дэвид повысил голос. — Надеюсь, он зарубит это себе на носу.

Будь он моим сыном, я бы ему задал по первое число.

Стивен ощутил, что у него задергался рот, подбородок — все лицо. Он открыл было рот, чтобы набрать воздух, и заплакал навзрыд.

— Прекрати, а ну, прекрати. — Дядя Дэвид слегка тряхнул его за плечо, но Стивен не мог остановиться. Он снова набрал воздуха — воздух с воем вырывался из груди. В дверях возникла Дженет.

— Принесите холодной воды, — распорядилась бабушка.

Поднялась кутерьма, суматоха, из коридора пахнуло холодным воздухом, хлопнула дверь, и Стивен услышал материнский голос. Выть он перестал, но то и дело всхлипывал; скосив затуманенные слезами глаза, он увидел, что в дверях стоит мама. Сердце у него екнуло, он заблеял, как ягненок: «Мааама», и метнулся к ней. Мама обхватила Стивена, опустилась перед ним на колени, и дядя Дэвид попятился. Она крепко прижала Стивена к себе и встала, не выпуская его из рук.

— Что ты сделал с моим ребенком? — спросила она дядю Дэвида, голос у нее сел. — Как я могла отпустить его к вам, как я могла поступить так безрассудно…

— Ты всегда поступала безрассудно, — сказал дядя Дэвид. — Так есть. И так будет. Потому что ты умом не вышла, — и он постучал себя по лбу.

— Дэвид, — сказала бабушка, — это же твоя…

— Знаю, моя сестра, — сказал дядя Дэвид, — как не знать. Но если ей вздумалось сбежать, чтобы выскочить замуж за…

— Заткнись, — сказала мама.

— И произвести на свет еще одного такого же, как он, пусть держит их дома. Я сказал, пусть держит…

Мама поставила Стивена на пол, но руки его не выпустила и торопливо, словно читая по бумажке, сказала бабушке:

— До свидания, мама. Стивен был у тебя в последний раз, правда, в последний. Моему терпению пришел конец. Попрощайся со Стивеном, больше ты его не увидишь. Не попустительствуй ты, ничего подобного бы не случилось. Ты в этом виновата. Ты знаешь, что Дэвид — трус, хам и самодовольная скотина, и всегда был таким, а ты ему во всем потакала. Позволяла ему помыкать мной всю мою жизнь, позволяла взводить напраслину на моего мужа, обзывать моего мальчика вором, но моему терпению пришел конец… Назвать мальчика вором из-за каких-то

паршивых шаров, и все потому, что он не любит моего мужа…

Она тяжело дышала, переводила взгляд с матери на брата. Теперь все они стояли. А потом бабушка сказала:

— Возвращайся-ка ты домой, дочка. А ты, Дэвид, поди отсюда. Довольно с меня ваших ссор. Что от тебя, что от тебя нет ни покоя, ни поддержки. Устала я от вас обоих. А теперь оставьте меня, прекратите кричать. Уйдите, — голос у бабушки дрожал. Она вынула платок, вытерла сначала один глаз, потом другой и сказала:

— Ненависть, вся эта ненависть — к чему это?.. Вот как все оборачивается. Оставьте меня.

— Ты и твои рекламные шары — экое убожество, — сказала мама дяде Дэвиду, — крупный бизнесмен, образец честности, рекламирует свой товар шариками, и, пропади у него хоть один, он разорится. Ты и твоя мораль — экое убожество…

Бабушка пошла к двери навстречу Дженет — та принесла ей воды. Бабушка, не сходя с места, выпила стакан до дна.

— Тебя заберет муж или ты поедешь домой одна? — спросила она маму.

— Я сама поведу машину, — рассеянно ответила мама: не иначе как думала о чем-то другом. — Ты

же знаешь, он ни за что не переступит порог этого дома.

— И правильно сделает, — сказал дядя Дэвид.

— Стивен, мальчик мой, идем, — сказала мама. — Ему давно пора спать, — сказала она, ни к кому не адресуясь. — Нет, это уму непостижимо — не дать ребенку спать — и чего ради? — чтобы мучить его из-за каких-то жалких кусков крашеной резины. — Поравнявшись на пути к двери с дядей Дэвидом, оскалила в улыбке оба ряда зубов и заслонила собой Стивена. — Страшно подумать, что бы с нами сталось без высоких моральных принципов, — сказала она дяде Дэвиду, а потом — уже обычным голосом — бабушке: — Спокойной ночи, мама, увидимся через день-другой.

— Разумеется, — бодро отозвалась бабушка и вышла в коридор вместе со Стивеном и мамой. — Не пропадай, позвони завтра. Надеюсь, завтра у тебя настроение улучшится.

— А оно у меня и сейчас хорошее, — весело сказала мама и засмеялась. Наклонилась и поцеловала Стивена. — Хочешь спать, малыш? Папа тебя ждет не дождется. Погоди, не засыпай, сначала поцелуешь папу, пожелаешь ему спокойной ночи.

Стивена точно подбросило — он проснулся.

Поднял голову, выставил подбородок.

— Не хочу домой, — сказал он. — Хочу в школу. Не хочу к папе, не люблю его.

Мама прикрыла ему рот рукой.

— Мальчик мой, не надо так.

Дядя Дэвид, фыркнув, дернул головой.

— Вот вам, — сказал он. — Вот — сведения из первоисточника.

Мама толкнула дверь и выбежала, увлекая за собой Стивена. Пересекла тротуар, дернула дверцу машины, влезла сама, следом втащила Стивена. Развернула машину и так резко рванула с места, что Стивена чуть не выкинуло с сиденья. Он что было сил вцепился в подушки. Машина прибавила ходу, мимо нее проносились деревья, дома — все такие уплощенные. Стивен неожиданно завел песню — тихонько, только для себя, так чтобы мама не услышала. Песню о своей новой тайне; утешную, дремотную:

— Не люблю я папу, не люблю я маму, не люблю бабушку, не люблю дядю Дэвида, не люблю Дженет, не люблю Марджори, не люблю папу, не люблю маму…

Голова его, подпрыгнув, поникла, упокоилась на мамином колене, глаза закрылись. Мама привлекла его к себе, сбавила скорость, держа руль одной рукой.

Перевод Л. Беспаловой

Старый порядок
Источник

Раз в году, в самом начале лета, когда прекращались занятия в школе и пора было детей отсылать на ферму, бабушку тоже начинало тянуть за город. Нежно, точно о любимом ребенке, она расспрашивала о видах на урожай, интересовалась, что сажают негры у себя в огородах и как скотина. Время от времени она приговаривала: «Я чувствую нужду в перемене и отдыхе», — . как бы оправдываясь, чтобы не подумали, будто она намерена выпустить из-под своего железного контроля семейные дела. Перемена в занятиях — лучший вид отдыха, такая у нее была теория. Трое внуков ощущали в доме первые слабые, но ясные признаки подготовки к отъезду; а сын ее, их отец, принимал нарочито покорный, терпеливый вид, плохо скрывающий недовольство предстоящими сложностями и неудобствами деревенской жизни. Но мать строго говорила: «Но, но, Гарри», — потому что ее обмануть ему не удавалось; да он и не стремился скрыть от нее свою досаду. И она, меняя тактику, начинала выражать

сомнение, чтобы его успокоить: неизвестно еще, сможет ли она оставить дом, тут столько всего надо успеть сделать.

Она с удовольствием предвкушала, когда ей, наконец, удастся дохнуть свежего деревенского воздуха. Представляла себе, как пройдется под сенью фруктового сада, любуясь спеющими персиками. Говорила о том, как будет подрезать розовые кусты и своими руками подвязывать вьющуюся жимолость. Упаковывала свои летние юбки, легкие черно-белые блузы, доставала широкополую довольно потрепанную соломенную пастушью шляпу, которую сплела себе когда-то сразу после войны, примеряла ее перед зеркалом, поворачивая голову туда-сюда, и заключала, что шляпа вполне еще годится от солнца. Она всегда брала ее с собой, но никогда не надевала. Вместо шляпы она носила туго накрахмаленный бело-синий клетчатый чепец с круглой тульей, пристегиваемой к узким полям; он сидел на макушке, словно вот-вот улетит, а длинные жесткие завязки свисали вдоль щек. Бабушкино сухощавое, бескровное, очень старое лицо выглядывало из-под этого головного убора, исполненное царственного спокойствия.

Когда с наступлением весны у стены городского

дома зацветало индейское персиковое дерево, бабушка говорила: «Я насадила пять садов на земле трех штатов, а вижу в цвету только одно это дерево». И останавливалась на минуту, охваченная тихой, сладкой печалью, глядя на это единственное дерево изо всех взлелеянных ею деревьев, которые по-прежнему росли, цвели и плодоносили в разных краях.

Наконец, оставив городской дом на няню, выкормившую ее детей, бабушка отправлялась в путь.

Если для детей отъезд был веселым развлечением, приезд на ферму был праздником для бабушки. Со всех ног бежал открыть ворота Гинри, радостно ухмыляясь во всю свою угольно-черную физиономию и издалека приветствуя хозяйку: «С прибытием, мисс София Джейн!» Он словно бы не видел, что тарантас распирает еще и от остальных пассажиров. Лошади, болтая животами, рысцой проезжали по аллее, бабушка громко, праздничным голосом здоровалась со всеми и ступала на землю, окруженная домочадцами и такая же взволнованная, как при поездках по железной дороге, но тут прибавлялось еще невыразимое чувство возвращения домой, не в дом, а на черную, жирную землю и к тем, кто на

ней живет. Не снимая вдовий чепец с длинной вуалью, она насквозь проходила весь дом, на ходу замечая непорядок, выходила с черного крыльца во дворы и огороды, поглядывая молча, прикидывала, где что надо исправить; шла по узкой тропке вдоль сараев, заглядывая внутрь и на зады строгим критическим взглядом, и дальше, между камышами слева и лугом справа, туда, где вдоль живой изгороди тянулся ряд негритянских хижин.

Приветливо окликая всех — что отнюдь не исключало в дальнейшем заслуженной головомойки, — она заходила на кухни, заглядывала в мучные лари, в печи, на буфетные полки, в каждую щель, во все углы, а за нею поспевали Литти, и Дайси, и Гинри, и Бампер, и Кег и старались объяснить, что сейчас у них не все как надо, но это потому, что было много работы под открытым небом, не успели управиться; но теперь возьмутся и все приведут в надлежащий вид.

И возьмутся, и приведут, бабушка это хорошо знала. Не пройдет и часа, как уже кто-нибудь выедет на телеге с заказом на столько-то известки и столько-то галлонов керосина, и такое-то количество карболки, и такое-то количество порошка от насекомых. Из мыльни приволокут щелок и

стиральное мыло, и закипит работа. Матрасные мешки опорожнят от истертой кукурузной шелухи, всех негритят посадят перебирать свежую, а мешки бросят в котел вываривать. Каждую хижину густо выбелят, лари и буфеты изнутри вымоют, кресла и кровати заново покрасят, засаленные стеганые одеяла выволокут на свет Божий и засунут кипятить в большом железном чане, а потом растянут на солнце сушиться. И как всегда по такому важному случаю шум подымется неимоверный. Женщин посадят шить рубахи для мужчин и детей, ситцевые платья и передники для себя. И у кого накопились жалобы, сейчас самое время с ними обратиться. Мистер Гарри запамятовал купить башмаки для Гинри, вы только посмотрите на Гинри: он вот так, босой, проходил всю-то зимушку. Мистер Миллер (рыжеусый мужчина, занимавший неопределенное положение: он надсмотрщик в отсутствие мистера Гарри и простой наемный работник, когда тот на месте) в минувшую зиму их во всем урезывал, что ни возьми: кукурузы было мало, бекона и вполовину не хватало, и дров тоже, всюду нехватки. Литти нужно немножко сахару в кофе, так думаете, мистер Миллер согласился дать? Нет. Сказал, что сахар в кофе не кладут. Гин-

ри говорит, мистер Миллер и себе в кофе сахар не кладет, такой жадный. У Бускер, трехлетней крохи, в январе разболелось ухо, приехала мисс Карлтон и влила ей опия, так маленькая с тех пор вроде как оглохла. Вороная лошадь, что мистер Гарри купил минувшей осенью, словно ошалела, прыгнула через колючую проволоку, и вырвала себе кус мяса из груди чуть не до кости и ни на что теперь не годится.

Во всех этих жалобах и десятках им подобных надо было на месте разобраться и всех успокоить, после чего бабушкино внимание обращалось на хозяйский дом, который следовало перетрясти весь сверху донизу. Отпирались большие секретеры и вытаскивались старые потрепанные собрания сочинений Диккенса, Скотта, Теккерея, словарь доктора Джонсона, однотомники Попа, Мильтона, Данте, Шекспира, с них тщательно обтирали пыль и снова отправляли под замок. Снимали закопченными ворохами занавеси и вешали обратно, наглаженными и ароматными; собирали с пола грязные, мятые половички и дорожки и возвращали на место, чистые, ровные, снова в ярких цветах; кухня из мрачной и неуютной превращалась в царство чистоты и порядка, где так и хотелось побыть еще немножко.

Затем такому же возрождающему действию подвергались сараи, коптильни, и картофельный погреб, и огороды, и каждое фруктовое дерево в саду, каждая лоза, каждый куст. В продолжение двух недель все живущие на ферме будут трудиться не покладая рук, погоняемые бабушкой, неутомимым, беспристрастным и разумным надсмотрщиком над рабочими силами. Дети бегали на воле, но все-таки не так свободно, как в бабушкино отсутствие. Каждый вечер в определенный час их отлавливали, умывали, пристойно одевали, сажали за стол есть что дают безо всякого возражения, и в свой срок отправляли спать. Дети любили бабушку; она была единственной реальностью в их жизни, другой власти и защиты для них не существовало, их мать умерла так рано что одна только старшая девочка сохранила о ней смутную память. Но при всем том они сознавали бабушкин деспотизм и жаждали воли. И когда в один прекрасный день она выходила на выпас и звала своего старого верхового коня по кличке Скрипач, они радовались, видя в этом знак ее скорого отъезда.

Скрипач был когда-то славной лошадью, ровно ходившей под седлом, но теперь превратился в понурого, вялого ветерана с сединой на подбо-

родке и скулах и целыми днями только тем и был занят, что нащупывал отвислыми мягкими губами кустики травы понежнее или расшатанными желтыми зубами осторожно брал с ладони кусочки сахара. И ни на кого, кроме бабушки, не обращал внимания. Но каждый год летом, когда она приходила на луг и звала его, он шел к ней на расслабленных ногах даже с чем-то вроде блеска в подслеповатых глазах. Оба старые, они любовно приветствовали друг друга. Бабушка всегда обращалась со своими животными так, как будто они люди, временно утратившие человеческий облик, но все равно им надлежит по мере возможности исполнять присущие им обязанности. Ей подводили Скрипача под старым дамским седлом — ее маленькие внучки ездили на лошади верхом, по-мужски, и она не видела в том худа, для них, — но сама усаживалась боком, уперев ногу в подставленную дядей Джимом Билли вогнутую ладонь. Скрипач вспоминал свою молодость и на негнущихся ногах брал в галоп, и она уносилась на нем, только черные завязки чепца и подол старомодной амазонки развевались по ветру. Возвращались они всегда шагом, бабушка сидела, прямая и торжествующая, с улыбкой на губах, самостоятельно слезала с седла на старую

колоду, трепала Скрипача по шее, прежде чем сдать его на руки дяде Джиму Билли, и величаво удалялась, подобрав на локоть трен амазонки.

Эта ежегодная скачка на Скрипаче была для нее важна как демонстрация ее силы, ее неувядаемой энергии. Скрипач может пасть со дня на день, он — да, но не она. Она делала замечание: «Что-то у него колени стали плохо гнуться», или: «Нынешний год он тяжеловато дышит», а вот у нее такая же легкая походка и такое же свободное дыхание, как всегда, так, во всяком случае, она сама считала.

В тот же день, или назавтра, она предпринимала прогулку по фруктовому саду, о которой ей так мечталось в городе, шла вместе с внуками, они то забегали вперед, то возвращались к бабушке, а она брела просто так, сложив руки на груди, и мела подолом землю, оставляя позади разметанную дорожку, подцепляя щепки, переворачивая мелкие камешки, белый чепец съезжал на бровь, на губах застыла довольная улыбка, но глаза не упускали ничего. Обычно после такой прогулки в сад посылался Гинри или Джим Билли, чтобы, не откладывая, что-то исправить, может быть, и мелочь, но необходимую.

А затем она спохватывалась, что сидит на

ферме и ничего не делает, в то время как дома столько дел… И вот, последний взгляд вокруг, наставления, указания, советы, прощания, благословения. Она отбывает с таким видом, будто расстается навеки, а возвращается в свой городской дом в таком же довольном, возбужденном настроении, в каком раньше приехала на ферму, и среди радостной суеты приветствий и добрых пожеланий, словно ее не было целых полгода, сразу же берется за работу по восстановлению в доме порядка, который за время ее отсутствия был, конечно, нарушен.

Путь

На старости лет бабушка и старая няня часами просиживали вдвоем за рукоделием. Они с увлечением резали на полоски и треугольники накопившиеся в семье за полвека остатки дорогих тканей и старательно составляли из этих обрезков бархата, атласа или тафты замысловатые композиции, сшивая их золотистой шелковой нитью и обметывая петельным швом. Они уже нашили столько покрывал на кровати и диваны, столько скатертей и дорожек, что хватило бы украсить несколько жилищ. Под каждую

готовую работу подшивалась желтая шелковая подкладка, затем изделие складывалось и пряталось в ящик комода, чтобы никогда больше не увидеть дневного света. Бабушкин прадед был знаменитым пионером в Кентукки, занимаясь топографическими съемками, он как-то раз вырезал для своей жены деревянную скалку. Теперь эта скалка была бабушкиным бесценным сокровищем. Она одела ее в пестрый лоскутный чехол, с двух концов прикрепила золотые кисти и повесила на видном месте у себя в комнате. А отец ее был боевой капитан, прославившийся отвагой в войне 1812 года. У нее осталась бритва в кожаном футляре и даггеротипный портрет в старости: свирепая физиономия, широкий шейный платок, закрывающий подбородок, и черный атласный жилет, обтягивающий все еще могучую солдатскую грудь. Для кожаного футляра она сшила лоскутный мешочек, а портрет поместила в рамку из обрезков рытого бархата и лилового атласа, обвязанных петельным швом. Прочие же ее изделия лежали спрятанные в комоде — к радости внуков, которые достигли того неудобного возраста, когда бабушкины старомодные вкусы вгоняют в краску.

В летние месяцы старухи сидели под тенью

смешанных фруктовых деревьев у боковой стены дома, откуда был виден весь восточный флигель, парадное и заднее крыльцо, большая часть переднего сада и край маленькой фиговой рощи. Место было выбрано в соответствии с их домашней стратегией. Здесь почти ничто не могло от них укрыться. Одного взгляда, брошенного время от времени, было довольно, чтобы знать, что происходит на усадьбе. Правда они не видели, как Миранда однажды выдрала всю грядку мяты для незнакомой симпатичной молодой женщины, которая из-за забора попросила у нее мятный стебелек. И не выяснили, кто обрывал большие гранаты, зревшие слишком близко от забора. А также не смогли помешать Полю, когда он вздумал экспериментировать с карманным фонариком и поджег на себе одежду; но успели потушить пламя, набросав на него ветошь, облить его постным маслом и прочитать ему мораль. Не видели они и как Мария лазит на деревья — такая у нее была мания, без этого она жить не могла, но выбирала высокие деревья по ту сторону дома. Однако таких случаев в общем круговороте домашних событий было совсем не много, так что они не чувствовали себя побежденными и не признавали свою стратегию безуспешной. Лето,

во многом такое желанное время года, имело свои недостатки. Дети разбегались по всей усадьбе, и негры любили валяться под вязами позади сараев, играть в карты и есть арбузы. Летний дом находился в небольшом селении в двух-трех милях от фермы, являя собой нечто промежуточное между строгим городским особняком и старым фермерским домом, который некогда с такими стараниями возводила, как Бог на душу положит, строительница-бабушка. Летний дом, часто говорила она, лишен преимуществ и города, и села, зато обладает всеми неудобствами и того и другого. Но дети его любили.

Зимой же, в городе, старые рукодельницы сидели в просторной бабушкиной комнате с высоким потолком и небольшим камином, который топили углем. Сюда сходились все звуки жизни, отдавались от стен, разлетались по дому и возвращались снова. Бабушке с няней был понятен их сложный код, они обсуждали их и обменивались мнениями, просто переглядываясь, или вздергивая бровь, или делая коротенькую паузу в разговоре.

А разговаривали они о былом, в сущности всегда о былом. Даже будущее в их устах начинало казаться прошлым и давно прожитым, не про-

должением того, что было, а его повторением. Они признавали, что жизнь, как они ее знали, ушла бесследно, мир быстро меняется, но по загадочной логике надежды им казалось, что каждая перемена — последняя. А если не последняя, то, выстроившись одна за другой, они завершат, с Божией помощью, полный круг, и все станет опять таким, как было. Почему они так любили свое прошлое, трудно сказать. Обеим пришлось хлебнуть немало горя. Каждый прожитый день они задавались вопросом, как же так, за что это все? Но не бунтовали и не ожидали ответа, не подвергали сомнению исходную правоту законов человеческой жизни, которые зиждутся на Божьем изволении. И лишь редким намеком делились друг с дружкой своими недоумениями: как же на таком фундаменте выросло и стоит столько страданий и непорядка? Бабушкино предназначение в жизни было управлять, она это знала. По велению долга она в своем доме распределяла обязанности, подгоняла или сдерживала — если нужно, учила морали, манерам, религии, карала или поощряла по установленным правилам. Свои собственные колебания и сомнения она от домочадцев прятала, внушая себе, что это тоже велит ей долг. А старая няня

вообще не задумывалась о своем месте в жизни. Оно было предуготовано ей при рождении, а в делах повседневных она всю жизнь подчинялась власти тех, кто находится рядом.

Так они сидели и толковали о Боге, о небесах, о том, что надо посадить новую живую изгородь из розовых кустов, о новых способах заготавливать фрукты и овощи, о вечности и о том, что обе надеются и там оказаться вместе. Нередко шелковый лоскут в их руках запускал длинную череду семейных воспоминаний. Они со смехом замечали, как по-разному работает у них память. Няня отлично помнила имена; она всегда могла сказать, какая погода была в тот или иной знаменательный день, в каких туалетах были те или иные дамы, какими красавцами смотрелись те или иные господа, какие блюда и напитки подавались к столу. А у бабушки в голове теснились даты, но в какой связи, она не помнила; ее воспоминания как бы парили в воздухе, вне времени. К примеру, 26 августа 1871 года произошло какое-то важное для нее событие. Она тогда сказала себе, что эту дату никогда не забудет; и действительно не забыла, но уже не имела ни малейшего представления, благодаря чему этот день остался в ее памяти. И няня в данном случае ничем ей не

могла помочь, в датах она была не сильна. Она не знала, в каком году родилась, и неизвестно было бы, когда праздновать ее день рождения, если бы бабушка, тогда мисс София Джейн, десяти лет, однажды не открыла бы наудачу календарь и с закрытыми глазами не пометила чернилами первое попавшееся число. С тех пор днем нянино рождения стало 11 июня, а год мисс София Джейн выбрала 1827-й, тот же, что и ее, и няня оказалась на три месяца моложе своей госпожи. Затем София Джейн сделала запись и в семейной Библии, старательно вписав крупными буквами ниже себя эту дату и имя: «Нэнни Гэй (черная)». Был, конечно, скандал, когда это обнаружилось, но чернила уже давно впитались в бумагу, да и никто не расстроился настолько, чтобы заняться выведением этой записи. Там она и осталась как одно из самых приятных напоминаний.

Они рассуждали и о религии, и о том, как испортились нравы в мире и все стало дозволено, и о младших детях, которые в этой связи сразу приходили на ум. На эти темы у обеих взгляд был четкий, критический и неколебимый. Старые женщины получили такое воспитание, которое дало им твердое представление о разных аспектах жизни, в частности о воспитании детей. Дети

зачинаются в грехе и растут в беззаконии — такова была общепринятая догма. Детство — это долгая пора наставления и обучения, подготовка к взрослой жизни, которая, в свою очередь, представляет собой долгое, неотступное, строгое исполнение долга, в том числе долга рожать и воспитывать детей. Дети непослушны, капризны и изобретательны в проказах, часто вырастают злыми и неблагодарными, несмотря на все, что для них делаешь — или пытаешься сделать. Такие болезненные уколы сомнения появлялись у обеих при взгляде на конечные результаты их трудов. Няня, например, не могла смириться с тем, какими выросли ее «современные» внуки. «Ленивые, никчемные, ну просто отбросы общества, мисс София Джейн, а ведь как их воспитывали!»

Бабушка за них заступалась, но бранила своих, притом ото всей души, потому что искренно находила в них большие недостатки. Но их защищала няня. «Маленькие, они наступают на ноги, а вырастая, топчут душу» — этим исчерпывается то, что можно сказать о детях всех поколений, но сама по себе тема неисчерпаема. Они возвращались к ней опять и опять с небольшими вариациями и с примерами из родни или из домашних в качестве доказательства. Тут у них был богатый

материал. Бабушка родила одиннадцать человек детей, няня — тринадцать. Они гордились этим. «Я мать одиннадцати детей», — говорила бабушка, словно сама удивляясь и не надеясь, что ей поверят, и даже как будто сама в этом не вполне убеждена. Впрочем, девятерых она и теперь могла представить в подтверждение. А няня потеряла десятерых. Все они похоронены в Кентукки. В том, что у нее были дети, няня не сомневалась и не допускала, что кто-то в этом может усомниться. Свою материнскую гордость она выражала иначе. «Тринадцать человек детей, — говорила она, как бы ужасаясь. — Тринадцать, о, Господь и Спаситель мой!»

Близость между ними возникла в раннем детстве, при обстоятельствах, которые даже им самим представлялись почти мифическими. Мисс София Джейн, жеманная, избалованная хозяйская дочка пяти лет от роду, с крутыми черными локонами, которые каждый день перед сном накручивались на палочку, выбежала в гофрированных крахмальных панталончиках и тугом лифе встречать отца, который ездил покупать лошадей и негров. Сидя у него на руках и обнимая его за шею, она смотрела на телеги, проезжающие мимо дома в конюшни и негри-

тянские хижины. В первой телеге сидели двое негров, мужчина и женщина, а между ними — тощенький полуголый черный ребенок с круглой, курчавой головкой и блестящими, живыми обезьяньими глазками. У девочки был вздутый животик и тоненькие, как щепки, ручки. Длинными, морщинистыми черными пальцами она держалась за родителей, одной рукой за мать, другой за отца.

— Я хочу вон ту обезьянку, — сказала София Джейн своему папе, прижимаясь к нему щекой и указывая на телегу. — Я буду с ней играть.

За каждой телегой вели в поводу двух лошадей, только во второй телеге ехал маленький пони, лохматый, с густой челкой над глазами, длинным хвостом с кисточкой и круглым, твердым животом-бочонком. Он стоял по колени в соломе, накрепко привязанный к обложенным мешками стенкам ящика, и еще один негр держал его за узду. «Вон видишь? — сказал ей папа. — Это для тебя. Давно пора тебе учиться ездить верхом».

София Джейн от радости чуть не выпрыгнула у него из рук. Но назавтра с трудом узнала свою лошадку, причесанную и вычищенную, и свою негритяночку, умытую и одетую в синее хлопковое платье. Первое время она сама не знала, кого

любит больше: Нэнни или Скрипача. Но Скрипач служил недолго. За один год она переросла его и без сожалений уступила младшему брату, только не позволила впредь звать его Скрипачом. Это имя она оставила себе и давала всем своим верховым лошадям. Первого назвала так в честь скрипача Фидлера Гэя, старого негра, который играл на вечеринках и балах. А Нэнни была всего одна, и она пережила Софию Джейн. Всю их долгую совместную жизнь между ними существовала не просто привязанность, а совершенная немыслимость пребывания друг без дружки.

Нэнни хорошо помнила, как сидела на невысоком помосте перед большим зданием на людной площади. Она тогда впервые в жизни увидела город. С нею были мать и отец, а вокруг густо толпился народ. Там же были и другие кучки негров, и их тоже окружали шумные белые люди. Никого из этих людей она никогда раньше не видела и потом за всю жизнь видела только одного из них. Должно быть, дело было летом, потому что она не дрожала в легкой рубашонке. Да еще у нее саднил зад, кто-то (вернее всего, мать) нашлепал ее перед тем, как всходить на помост, чтобы сидела смирно. Ее мать и отец работали на плантациях и никогда не жили в доме

у белых людей. Неожиданно к ним подошел рослый господин с очень узким лицом и горбатым выступающим носом, одетый в синий сюртук с большим воротом и очень длинные светлые брюки (няня, закрыв глаза, в любой момент могла его себе представить в точности таким, какой он был тогда). Вокруг поднялся шум. Рядом на деревянной колоде стоял краснолицый человек, который кричал и гудел, размахивая руками и указывая на нянины родителей. Рослый господин, не глядя на негров на помосте, время от времени поднимал палец. Потом все вдруг смолкли, рослый господин обратился к ним: «Так, Эф! Так, Стини! Сейчас подойдет мистер Джиммерсон и возьмет вас. — Пальцем в толстой перчатке он ткнул маленькую няню в живот и сказал аукционщику: — Что это еще за чучело? За такое мне еще приплата полагается».

— Да, сейчас никчемный товар, сэр, согласен с вами, — ответил аукционщик. — Но они ведь растут. А что до этой пары, лучших не найдете, уж поверьте мне.

— Я к ним уже давно приглядываюсь, — сказал высокий и пошел прочь, по пути сделав знак толстяку, который сидел на передке телеги; тот смачно сплюнул табачный сок, встал и подошел

к няне и ее родителям.

Маленькую няню продали за двадцать долларов, можно сказать, отдали задаром. Потом она узнала, что по-настоящему хорошего раба иногда покупали за тысячу и даже больше. Ей доводилось слышать, как рабы хвастались друг перед другом, за кого сколько было уплачено. О том, какую цену дали за нее, она узнала только из язвительного замечания родной матери — когда девочка окончательно переселилась в барский дом, а отец с матерью так и остались работать в поле. Там они работали и жили, там и умерли. А у Нэнни вывели глистов, вылечили ее от вздутия живота, и она зажила припеваючи в сытости и ласке, может быть, не такой нежной, как та, что доставалась щенкам, но вполне отвечающей ее понятиям о хорошей жизни.

Старухи часто толковали о том, как странно все устраивается в жизни. В 1832 году Техас был новой Землей Обетованной. Вот первый хозяин няни и ее родителей, по словам папаши Софии Джейн, и помешался на Техасе. Он продал свою ферму и четырех рабов в Кентукки и на вырученные деньги купил большой, добрых двадцати миль длиной, участок в юго-западном углу Техаса. И отправился туда с женой и двумя малолетними детьми.

Много лет от них не было ни слуху ни духу. Но когда бабушка сорок лет спустя ездила в Техас, она нашла его там владельцем процветающего хозяйства и вдобавок окружным судьей. А еще гораздо позже ее младший сын познакомился с его внучкой, влюбился и женился на ней — все за какие-то три месяца.

На свадьбе судья, тогда уже восьмидесятипятилетний старец, предавался буйному веселью. Дыша кукурузным водочным перегаром, он то и дело божился и подымался из-за стола, чтобы помянуть добрые старые времена в Кентукки. Бабушка показала ему няню: «Узнаешь?» — «Бог ты мой! Неужто эта та самая чучелка, что я продал твоему отцу за двадцать долларов? Для меня тогда двадцать долларов были целым богатством!»

Когда ехали обратно по крутой каменистой долгой дороге из Сан-Маркоса до Остина, няня все-таки не выдержала и высказала свою обиду: «По-моему, судье бы надо вести себя воспитаннее, — сказала она хмуро. — Его вроде бы совсем не заботит, что он ранит чужие чувства».

Бабушка, забившись в дальний угол старого тарантаса, сидела в своем потертом котиковом жакете, порыжевшем на швах, и, закрыв глаза и сцепив пальцы, в очередной раз старалась

примириться с потерей сына, ушедшего от нее к жене, чью семью и ее самое она не могла вполне одобрить. Не то чтобы о них можно было что-то серьезное сказать в осуждение, но все же — ну, не понимала она вкусов своих сыновей. Что они находят в девицах, которых избирают в жены? Она давно уже составила себе представление о том, какая жена нужна каждому из них. И хлопотала, чтобы женить их удачнее, чем получалось по их собственному выбору. Но они только злились за то, что она вмешивается в дела, которые никого, кроме них, не касаются. Но что она разбаловала и изнежила своего младшенького до такой степени, что из него теперь не выйдет вообще никакой муж, тем более хороший, этого она не сознавала. В своей новой невестке, высокой, крепкой, цветущей девушке, которая и держалась прямо, и прямо выражала свои мысли, она ощущала предвестие конца сладким денечкам ее баловня. Бабушку возмущала самоуверенность невесты — как она сама, по своему усмотрению, до мелочей, распорядилась свадебной церемонией и как спокойно, с иронией поглядывала на молодого мужа, будто уже успела понять ему цену. Да еще на свадебном ужине умудрилась во всеуслышанье объявить, что на ее вкус, медовый месяц лучше

всего провести на дальних выгонах при стаде, помогая клеймить отцовский скот. Возможно, конечно, это было сказано в шутку. Но какая-то она все же чересчур «европеизированная», чересчур современная, вроде этих «новых» женщин, которые уже совсем головы потеряли, требуют себе права голоса и уходят из дому в широкий свет, чтобы жить на собственные заработки…

Миниатюрная бабушка вся содрогнулась при мысли о женщинах, так бесстыдно нарушающих законы женственности. И вздрогнув, стряхнула с себя мрачные мысли-предчувствия, от которых остается горечь во рту.

— Не обращай внимания, Нэнни, — утешила она няню. — Судья просто не подумал. Он слишком любит веселое застолье.

Няня и ее хозяйка в детстве спали в одной кровати, играли вместе и вместе рукодельничали. Они и отбивались вместе, почти на равных, от всех попыток отнять у Софии Джейн единоличную власть над ее негритяночкой. Когда им обеим исполнилось семнадцать, мисс Софию Джейн выдали замуж. Была устроена шумная свадьба. Дом был до крыши набит гостями, и каждый состоял с остальными не дальше, чем в троюродном родстве. Двое суток на дворах и в конюшнях

обихаживали сорок экипажей и больше двухсот лошадей. Когда по аллее проскрипели последние колеса (а некоторые гости задержались на добрых две недели), кладовые и мучные лари были наполовину пусты, а комнаты и коридоры выглядели так, как будто по ним проскакал кавалерийский полк. Несколько дней спустя вышла замуж и няня, ее выдали за парня, с которым она была знакома с тех времен, как поселилась в семье, и их в качестве свадебного подарка отдали в собственность мисс Софии Джейн.

И началась у мисс Софии Джейн с няней отчаянная, жестокая гонка деторождения — каждые полтора года или около того по ребенку, и всех выкармливала няня, а София Джейн мучалась, стягивая грудь бинтами и прижигая винным спиртом. Когда у них родилось по четвертому, няня чуть не умерла от родильной горячки. Выкормила обоих София Джейн. Черного младенца она нарекла Чарли, а своего — Стивен и кормила их честно по очереди, то одного, то другого, не отдавая предпочтения белому, как считала себя обязанной делать няня. Муж негодовал и пытался это запретить; мать приходила и уговаривала. Но София Джейн оказалась упрямой и несговорчивой. У нее уже начал к этому времени

развиваться твердый характер, справедливый, человечный, гордый и простой. На поверхности у нее было немало мелких суетных слабостей: она любила роскошь, не терпела, чтобы ее осуждали, на том основании, что чувствовала себя умнее и рассудительнее почти всех, кто ее окружал. Поэтому убедить ее в чем-либо было очень трудно. Она спокойно, без лишних слов, стояла на своем, и спорщики верили, что она не просто грозится, а действительно скорее умрет, чем уступит. Она осознала, как жестоко обделяла себя, отдавая кормить своих детей другой женщине, и приняла решение никогда больше не лишать себя этого. Теперь она кормила двух младенцев, испытывая при этом незнакомое ей прежде чувственное наслаждение, и думала, что это святое чувство послано ей Богом в награду за муки, испытанные на родильном ложе. И за то, что она недополучила на брачном ложе, так как там ей тоже было недодано. Она спокойным голосом объявила няне: «С сегодняшнего дня ты будешь кормить своих детей, а я своих». Так у них и пошло. Но Чарли остался ее любимцем. «Теперь я понимаю, — сказала она своей старшей сестре Кизи, — почему черные кормилицы так любят своих выкормышей. Я своего тоже люблю».

Чарли рос в доме вместе с ее сыном Стивеном, и его никогда не посылали на тяжелые работы.

Рука и сердце Софии Джейн были завоеваны заочно сказочно красивым молодым человеком, которого она помнила еще курносым мальчуганом с локонами, как у нее, только покороче, в белой рубашечке с оборками у ворота и шотландской юбке в серо-розовую клетку. Он приходился ей троюродным братом и был так на нее похож, что их принимали за брата и сестру. Их деды были кузенами, и в позднейшие годы, будучи уже за ним замужем, София Джейн замечала у него те же свойства, которые возмущали ее в старшем брате: недостаток целеустремленности, неумение собраться в острый момент, философическую мечтательность, несклонность заниматься практическими делами, привычку затеять что-нибудь и бросить свое начинание — пусть кто хочет, доводит до конца — и глубокое убеждение, что все окружающие должны радоваться возможности его обслуживать. Она боролась с этими пагубными чертами у брата, и у мужа тоже — в пределах, допускаемых супружеским долгом, а через многие годы столкнулась с ними же опять у двух из своих сыновей и у нескольких внуков. Но ни в одном случае не добилась победы — эго-

истичные, равнодушные, никого не любящие, они жили и закончили свои жизни так же, как начинали. Однако сама бабушка в неустанных стараниях исправить их выковала свой воистину удивительный характер. У ее мужа был такой же фамильный зоркий глаз, как у нее. Ему было неприятно и страшновато видеть, как она несгибаемо упряма, как убеждена, что заведомо права во всех случаях жизни, и не только права, но и не подлежит критике и что ее мнение, по любому, пустяковому поводу, — самое главное, им недопустимо пренебрегать и нельзя от него отмахиваться. Они росли рядом, но в переломный момент он исчез — уехал в университет, а потом в путешествие; она о нем надолго забыла, а потом, увидев его снова, забыла, что он собой представлял. Она была жизнерадостной, живой и миловидной, в голове у нее теснились тщеславные желания, и умопомрачительные фантазии грозили толкнуть ее за какую-то запретную грань. Ей часто снилось, будто она утратила девственность (добродетель, в ее понимании) — единственное, что давало ей право на уважение, сострадание, даже на самую жизнь, и после ужасных моральных мук, маскирующих ее физические ощущения, она пробуждалась в

холодном поту, в смятении и страхе. Про кузена Стивена говорили, что он стал «необузданным», но этого и следовало ожидать. Ведь он, конечно, ведет бурную сладкую мужскую жизнь и знаком со злом, при мысли о котором у нее шевелятся волосы на голове. О, упоительная, таинственная, свободная и страшная жизнь мужчин! Она подолгу о ней думала. «Ах ты, маленькая мечтательница!» — говорили отец или мать, застав ее грезящей наяву — глаза влажные, на губах неопределенная улыбка — над пяльцами или над книгой или просто сидящей лицом к стене, уронив руки на колени. Она специально на этот случай заучила отрывки нескольких высокопарных стихотворений и с чувством декламировала их, когда спрашивали, о чем она задумалась; а иной раз напевала в ответ какую-нибудь печальную песенку, из тех, которые, она знала, им нравятся. Подбежит к фортепиано, одной рукой наиграет мотивчик, еще и скажет: «Мне вот это место больше всего нравится», не оставляя у них сомнения в том, чем заняты ее мысли. Так она провела всю свою молодость, ни разу себя не выдав; и только уже в пожилом возрасте, когда умер муж и распылилось имущество и бабушка одна, с детьми на руках, взялась устроить им

новую жизнь на новом месте, взвалив на себя всю ответственность мужчины, но без мужских привилегий, она, можно сказать, стала честной женщиной; однако же она всегда была честной, до страсти. Исключительно честной. Всю жизнь.

Теперь, когда они сидели с няней под деревьями, обе состарившиеся и уже завершая свое сражение с жизнью, она пощупала атласный лоскут и сказала:

— Несправедливо, что у сестры Кизи было свадебное платье из этой кремовой парчи, а у меня — всего лишь из кисеи в горошек…

— Времена были тяжелые в тот год, когда вы выходили замуж, мисси, — отозвалась няня. — Тогда погиб весь урожай.

— Он потом всякий год погибал, помнится мне, — заметила бабушка.

— А мне помнится, кисея в горошек была в самой моде, когда справлялась ваша свадьба, — сказала няня.

— Мне она никогда не нравилась, — покачала головой бабушка.

Няня, рожденная в рабстве, была рада, что умрет свободной. Ее ранило не столько рабское состояние, сколько само слово «рабство». «Освобождение» же ласкало слух. Оно ни в чем ни на

йоту не изменило ее образ жизни, но она гордилась, что может теперь сказать своей хозяйке: «Я думаю остаться при вас, сколько вам понадоблюсь». Ей казалось, освобождение излечило ту боль, что язвила ее сердце, как шип. Она никогда не могла понять, почему Бог, Которого она любила, так жестоко обошелся с целым народом просто из-за цвета кожи. Она обсуждала это с мисс Софией Джейн. Неоднократно. Мисс София Джейн всегда отвечала уверенно и без колебаний: «Глупости! Говорю тебе, Богу нет дела до того, у кого кожа светлая, а у кого темная. Он видит только души. И не бери, пожалуйста, в голову, Нэнни, — разумеется, ты попадешь на небо».

Нэнни, со своим неразвитым умом, владела, однако, начатками логики. Она допускала, безо всякой обиды, просто из общих соображений, что Бог, раз Он так безжалостно отнесся к черным людям на земле, вполне может продолжить такое же обращение и на том свете. Мисс София Джейн с удовольствием разуверяла ее, словно, неся ответ за ее душу и тело в этой жизни, она и пред троном Всевышнего будет ее гарантом.

Мисс София Джейн взяла на себя всю ответственность за свой запутанный мир, наполовину белый, наполовину черный, который все боль-

ше перемешивался и хаос все усугублялся. При доме постоянно находилось множество молодых мужчин, зятья, девери, двоюродные братья, троюродные братья, племянники. Приезжали погостить и оставались, и неизвестно было, чем они занимаются, и невозможно следить за их скрытным, упрямым поведением. Очень скоро она научилась помалкивать и не выказывать беспокойства, но всякий раз, как у негров рождался младенец, розовый червячок, она, затаив дыхание (как она много лет спустя рассказывала старшей внучке), выжидала три дня, окажется ли новорожденный в свой срок чернокожим… Это стоило ей больших усилий и внушило ей, в конце концов, глубоко укоренившееся презрение к мужчинам. Она ничего не могла с собой поделать, она презирала мужчин. Но презирая, подчинялась. Муж растранжирил ее приданое и все наследство, неосмотрительно вкладывая деньги на чужих территориях — в Луизиане, в Техасе; а она безропотно смотрела, как он пускает на ветер семейное достояние, хотя и знала, что могла бы распорядиться лучше. Но ее обязанности лежали в другой области, а принимать все решения и управлять финансами — дело мужское. Когда же бразды правления попали в ее руки, сыновья все

же могли уговорить ее согласиться на то или иное вложение или предприятие. Против воли и собственного убеждения она принимала их советы, так что общими усилиями они сумели опять разрушить ту твердыню, которую она заново возвела во имя будущего своей семьи. Дети получили от нее начальный капитал, обращались к ней за дополнительной помощью, когда бывала нужда, и отчаянно между собой враждовали. После того, как муж, вместе со всеми остальными родичами — мужчинами призывного возраста, провоевал всю войну, был ранен, прожил по возвращении домой еще какое-то время беспомощным инвалидом и умер от полученной раны, а боевой пыл и раж растаяли в безнадежности поражения и быть ветераном, раненным и погубленным на войне, стало означать просто-напросто, что ты оказался хоть и храбр, но глуп, она все равно считала своей обязанностью заботиться о своих домочадцах. Собрав всех вместе, она перебралась с ними в Луизиану, где муж на ее деньги когда-то купил сахарный завод. В сахаре наше богатство, говорил он; не в сырье, которое мы выращиваем, а в производстве готового продукта. Он вынашивал планы, как будут работать его хлопкоочистительные установки, и мельницы, и

рафинадные заводы. Если бы он остался жив… но он не остался жив, и София Джейн только успела отремонтировать купленный в Луизиане дом и насадить фруктовый сад, как ей стало ясно, что в ее руках от сахарного завода толку не будет.

Она продала все с убытком и отправилась в Техас, где ее муж несколько лет назад по дешевке купил большой участок плодородного чернозема на почти не заселенной территории. При Софии Джейн были девять детей, младший двух лет, старший — семнадцати; няня с тремя сыновьями, дядя Джим Билли и еще два негра, все здоровые, полные надежд и жажды жизни. Мужнин дух не отпускал ее, его смерть возмущала ее до глубины души, как будто он нарочно ее предал. Она оплакивала его, но с негодованием, глаза ее оставались сухими. Только двадцать лет спустя, когда после долгого отсутствия возвратился сын ее любимой дочери, так рано умершей, она узнала в нем черты и повадки мужа своей молодости и тогда заплакала.

На второй, страшный год в Техасе два ее младших сына, Гарри и Роберт, сбежали из дому. Выбрали погожий день в середине мая. И отошли уже на семь миль, когда сосед-фермер заметил их, удивился, задал несколько вопросов и в кон-

це концов, зазвав в свою пролетку, доставил обратно.

Мисс София Джейн прошла через весь мрачный ритуал наказания, которое считала в этой ситуации необходимым: высекла обоих хлыстом для верховой езды. Затем опустилась вместе с ними на колени, и они втроем молились Богу, чтобы помог им исправиться и впредь не нарушать свой долг перед матерью. А потом, выполнив все, что полагается, не выдержала и прижав к себе обоих, расплакалась. Порку они вытерпели стоически, так как было бы позором плакать, когда тебя бьет женщина, Да к тому же она и била не очень сильно. И на коленях стояли рядом с нею хмурые, испытывая неловкость, потому что религиозные чувства — это дело женское и непонятное. Но увидев слезы на глазах матери, раскаялись и громко разрыдались. Им было всего девять и одиннадцать лет. Страдальческим голосом, полным такого отчаяния, что им стало страшно, она спросила: «Почему, почему вы убежали от меня? Зачем, по-вашему, я привезла вас сюда?» Словно они были взрослые и могли понять, в каком трудном положении оказалась семья. А они только объяснили, плача, что хотели обратно в Луизиану, чтобы наесться сахарного

тростника. Всю прошедшую зиму они думали о сахарном тростнике… Мать была потрясена. Она построила дом на всех, для чего приходилось напиленные вручную бревна волочь за сорок миль на запряженных быками телегах. Она огородила свои поля, собрала урожай, накормила и одела всех детей. А оказывается, дети были голодны. Эти двое, самые маленькие, тоже работали как взрослые мужчины. Сейчас, обнимая их, мать ощущала сквозь худобу их растущие кости и думала о том, что беспощадно наваливала на них работу, как наваливала и на себя, и на негров, и на лошадей, потому что тут не было выбора. Приходилось работать свыше сил — или погибнуть. Она обнимала их и чувствовала, что сердце у нее в груди разрывается. Это выражение всегда казалось ей глупым. Но вот у нее в самом деле разрывалось сердце. Она не то чтобы перестала вообще чувствовать, нет, даже наоборот, ее чувства сделались горячее, импульсивнее, но горе больше не давило ее так долго, как прежде. С этого дня она начала баловать своих детей и бояться за их. После долгого, задумчивого молчания, когда сыновья завозились у нее под руками, она сказала: «Мы будем выращивать отличный сахарный тростник, почва здесь для него самая

подходящая. И у нас будет сахару столько, сколько мы пожелаем. Но нужно терпение».

К тому времени, когда дети начали обзаводиться собственными семьями, она уже могла каждому выделить по изрядному куску земли и кое-какие деньги и помогать им там, где им больше нравилось, прикупить еще земли, по кускам распродавая для этого собственные владения. У нее на глазах они все начинали хорошо, но не все так же хорошо кончали. Они занялись каждый своими делами, расселились по разным местам и, видимо, утратили то чувство семейного единства, которым бабушка так дорожила. Терпели ее нечастые наезды в гости, и ее советы, и ее непреодолимую правоту, а от ее нежности не знали, как увернуться. Когда жена Гарри умерла, — к жене Гарри она всегда относилась с неодобрением, очень уж та была большая неженка и хозяйка никудышная, даже рожать толком не могла, умерла третьими родами — бабушка взяла детей к себе и начала жизнь заново с той же энергией, но с большей снисходительностью. Она уже вырастила их до того уровня, когда, по ее представлениям, можно было приступить к исправлению у них недостатков, унаследованных, как она справедливо признавала, с обеих сторон, но тут умерла.

Случилось это неожиданно, в начале октября, после того как она целый день работала в саду, показывая мексиканцу-садовнику своей третьей невестки, как навести в саду порядок. Она гостила у них на западной окраине Техаса, гостила с удовольствием. Невестка, доведенная до белого каления, виду, однако, не показывала и вела себя паинькой, и бабушка, для которой она была ребенком, не замечала ее бешенства. А сын давно привык не сопротивляться матери. Она подавляла его своими мягкими, справедливыми и неоспоримыми доводами. Он успокаивал жену, говоря, что потом, после отъезда матери, все можно будет вернуть в прежнее состояние. Но так как для этого пришлось бы, в частности, перенести обратно глинобитную стену в пятьдесят футов длиной, для жены это было плохим утешением. Довольная, разрумянившаяся бабушка вошла в дверь со словами, что здесь, на бодрящем горном воздухе, она прекрасно себя чувствует, — и упала мертвая на порог.

Свидетель

Дядя Джим Билли был так стар и так долго гнул спину над разными вещами, собирая их и разби-

рая, переделывая и починяя, что согнулся, можно сказать, пополам. Пальцы у него были скрючены и не разгибались, оттого что он, работая, всегда держал предмет очень крепко, и выпрямить их было невозможно, даже если ребенок брался за его толстые черные пальцы и пытался их разогнуть. Ходил он, ковыляя и опираясь на палку; сквозь клочковатую растительность на голове просвечивал лиловый череп, а сами волосы поседели, стали иззелена-серыми и как будто бы траченными молью.

Он чинил сбрую и подбивал подметки другим неграм, строил заборы и курятники, навешивал двери на сараи; протягивал провода и вставлял новые оконные рамы, подвинчивал ослабевшие дверные петли и латал прохудившиеся крыши; исправлял покосившиеся стенки конных экипажей и расшатанные ножи плугов. А также он умел вырезать из деревяшки маленькие надгробия; дай ему хоть какой-нибудь деревянный брусок, и он сделает из него замечательный могильный памятник, совсем как настоящий, с орнаментом и с надписью, если нужно. А нужно бывало часто, потому что какой-нибудь зверек или птица постоянно умирали и надо было их хоронить по всем правилам: на тележке, убранной, как похо-

ронные дроги, в гробике — обувной картонке, под траурным покрывалом, с множеством цветов, ну и понятно, с надгробным памятником.

Орудуя своим большим ножом, ловко прорезая на дереве круги, чтобы получился цветок, обстругивая и сглаживая бока и низ, останавливаясь по временам и разглядывая сощуренным глазом свою работу на расстоянии вытянутой руки, дядя Джим Билли обязательно что-то бормотал тихим, прерывающимся голосом, как бы про себя; но на самом деле он что-нибудь рассказывал, обращаясь к тем, кто стоял рядом. Иногда это был запутанный рассказ о привидениях; тут, сколько ни слушай, все равно не поймешь, сам ли дядя Джим Билли видел привидение и действительно ли это было привидение, или же просто человек, который вырядился привидением. И еще он любил рассказывать про ужасы рабовладельческих времен.

— Его, бывало, схватят, привяжут и стегают, — невнятно повествовал он, — кожаным ремнем в дюйм толщиной и длиной с человеческую руку, а в ремне прорезаны круглые дыры, как хлестнет, так отрывает от кости круглые куски кожи и мяса. А как отхлещут ремнем и вся спина становится один кровавый кус мяса, наложат на спину сухой

кукурузной шелухи и поджигают, поджаривают, а после сверху еще уксусом обольют… Н-да, сэр. А на следующее утро он уже должен выходить на работу в поле, а не то ему опять все то же учинят по новой. Вот так-то. Если не выйдет на работу, опять ему все по новой.

Дети — их трое: серьезная, воспитанная десятилетняя девочка, задумчивый восьмилетний мальчик и быстроглазая пугливая выдумщица шести лет — сидят вокруг дяди Джима Билли и слушают не без смущения. Конечно, они знают, что когда-то негры были рабами, но их уже давно всех освободили, и теперь они просто слуги. Детям трудно представить себе, что дядя Джим Билли родился при рабстве, как выражаются негры. Ведь он, должно быть, давно уже и думать забыл, что был когда-то рабом. На их памяти он никогда не выполнял то, что ему велят. Он делает свою работу, как хочет и когда хочет. Если тебе нужно вырезать надгробие, просить его об этом следует крайне осторожно и вкрадчиво. Рассказ его про рабскую жизнь звучал совсем беспристрастно и отвлеченно, но все-таки им неловко и немного не по себе. Поль предпочел бы сменить тему, но маленькая востренькая Миранда желает знать самое худшее.

— А с тобой тоже так обращались, дядя Джим Билли? — спрашивает она.

— Нет, мэм, — отвечает дядя Джим Билл. — Какое имя тебе вырезать на этом памятнике? Со мной никогда. Это на рисовых плантациях такие дела делались. Я всегда работал здесь, поблизости от господского дома, или в городе при мисс Софии Джейн. А вот там, на плантациях…

— И они от этого не умирали, дядя Джим Билли? — спрашивает Поль.

— Еще бы не умирали, — отвечает дядя Джим Билл. — Еще как умирали, — он мрачно поджимает губы. — Умирали тысячами и десятками тысяч.

— Ты можешь вырезать тут надпись «В блаженстве на небесах», дядя Джим Билли? — заискивающим голоском спрашивает Мария.

— Это над каким-то кроликом, мисси? — негодует дядя Джим Билли. Он вообще очень набожный. — Над язычником? Нет уж, мэм. На плантациях их привязывали к столбу и выставляли на весь день и всю ночь, и еще день и еще ночь, и еще день с завязанными руками и ногами, чтобы ни почесаться, ни отмахнуться, и комары пожирали их заживо. Накусают так, что человек распухнет, будто шар, и на всю плантацию слыш-

ны крики и мольбы о спасении. Н-да. Так-то вот. И ни капли воды напиться и ни корки хлеба… Да, брат. Вот как было. Именем Господа свидетельствую. Осанна! А теперь берите свой памятник, и чтоб я вас больше не видел… А не то я…

Дядя Джим Билли мог вдруг ни с того ни с сего рассердиться, а за что, непонятно. Чуть что, приходил в ярость. Но угрозы его были такие невероятные, что не могли нагнать страху даже на самого доверчивого ребенка. Он постоянно собирался кому-то сделать что-то ужасное, а потом еще самым жутким образом распорядиться останками. С кого-то грозился заживо спустить шкуру и прибить гвоздями к воротам хлева, или оттяпать топором чьи-то уши и прицепить на голову Бонго, безухому пегому псу. Часто он говорил, что выдерет у кого-то все зубы и смастерит из них вставную челюсть для Старика Ронка… Старик Ронк был бродяга, он все лето жил в хижине позади коптильни, кормился вместе с неграми и целыми днями сидел и шамкал беззубым ртом. У него росли на лице редкие черные, словно вощеные волоски, и из-под красных, воспаленных век смотрели злые глазки. Говорили, что он колется морфием, но что такое морфий и как это им колятся и зачем, никто, похоже, не знал… Подумать,

что твои зубы достанутся Старику Ронку, было неприятно.

А не исполнял дядя Джим Билли свои угрозы, как он объяснял, потому, что руки не доходили. У него всегда было слишком много дел, которые он все не успевал переделать. Но когда-нибудь в один прекрасный день он еще кое-кого так удивит, что обомлеешь, а до той поры пусть все смотрят в оба.

Цирк

Доски, уложенные на клети из толстых бревен, длинными рядами поднимались одна над другой на страшную, головокружительную высоту и обнимали арену большим овалом. На них тесно сидели люди, «точно блохи на песьем ухе», сказала Дайси, крепко держа Миранду за руку и с неодобрением озираясь вокруг. Над головами на трех столбах пузырился огромный провисший брезент. Их семья, когда расселась, заняла почти целый ряд.

В одну сторону посмотреть, там друг за другом сидели папаша, сестра Мария, брат Поль, бабушка; за ними двоюродная бабушка Кизия, двоюродная сестрица Кизия и троюродная сест-

рица Кизия, они только что приехали в гости из Кентукки; потом дядя Чарльз Бро, кузен Чарльз Бро и тетушка Мари-Анн Бро. А в другую сторону — маленькая кузина Люси Бро, большой кузен Поль Гэй, двоюродная бабушка Салли Гэй (которая нюхала табак и потому была позором семьи); два незнакомых очень красивых молодых человека, они, может быть, тоже кузены, но, что точно, они влюблены в кузину Миранду Гэй; и сама кузина Миранда Гэй, шикарная красавица в шуршащих шелковых юбках, чуть не полдюжины одна на другой, у нее упоительные духи и чудесные черные кудри и огромные, испуганные серые глаза, «как у жеребенка», сказал папаша. Миранда мечтала, когда вырастет, стать тютелька в тютельку похожей на нее. Держась одной рукой за Дайси, она высунулась и помахала кузине Миранде, та улыбнулась и помахала ей в ответ, и незнакомые молодые люди помахали тоже. Миранда была страшно взволнована. Она в цирке первый раз и возможно, что последний, потому что бабушку уговаривали взять ее с собой чуть не всем семейством, и она в конце концов сказала: «Ну, хорошо, на этот раз. Поскольку съехалась вся родня».

На этот раз! Только на этот раз! Миранда гля-

дела на все вокруг и не могла наглядеться. Даже заглянула в щель между досками, из которых сколочены сидения, и там, к своему удивлению, увидела странных, плохо одетых мальчиков. Они развалились на кучах мусора и смотрели вверх. Одному она посмотрела в лицо, и он ответил таким странным взглядом, что она никак не могла его понять, сколько ни глядела во все глаза. Его взгляд был нахальным, издевательским, без всякой примеси дружелюбия. Мальчик был худой, грязный, в клетчатой мятой фуражке, надвинутой глубоко на красные уши и немытые серые волосы. Миранда смотрела, а он толкнул локтем соседнего мальчика, что-то ему шепнул, и тот, второй мальчик тоже уставился на нее. Ну, это уж слишком. Миранда потянула Дайси за рукав. «Дайси, зачем эти мальчики сидят там внизу?» «Где это внизу?» — переспросила Дайси. А сама уже, видно, все сообразила, потому что нагнулась, посмотрела в щель между досками, сжала колени, обтянула подол вокруг ног и сердито сказала Миранде: «А тебе нечего обращать на них внимание. Сиди смирно и не раскидывай ноги в стороны. Что тебе за дело до всяких шалопаев. Мало ли какая публика собралась в цирке. Не хватает еще на этих смотреть».

Тут над самым ухом у Миранды грянул мощный духовой оркестр. Она вскочила, вся дрожа, охваченная страшным волнением, забыв вдохнуть воздух в легкие, — звук, и цвет, и запах налетели на нее со всех сторон, просочились сквозь кожу и волосы, застучали в голове, в руках, в ногах, в низу живота. «Ой, ой!» — закричала она в ужасе, зажмурившись и вцепившись в руку Дайси. Вспыхивающие огни прожгли ей веки, хохот, похожий на звериный рев, заглушил голоса труб и барабанов. Она приоткрыла глаза… Кто-то в просторном белом комбинезоне с оборками у шеи и на щиколотках, а голова — голый череп и лицо белое-белое, брови посреди лба топорщатся в разные стороны щеточками, веки черненные, домиком, рот ярко-красный, растянутый до ушей, с загнутыми кверху уголками, застывший в гримасе боли и недоумения, а не в улыбке, — идет по проволоке над рингом, вышагивает, балансируя длинным шестом с колесиками на обоих концах. Миранде сначала показалось, что он идет просто по воздуху, парит в вышине, и это ее нисколько не удивило. Но когда она разглядела проволоку, стало страшно. Кто-то, непонятно кто, движется высоко под куполом и вращает два колесика. Вот он замер, пошатнулся, задрыгал в пустоте белой

ногой; поскользнулся, завалился набок и рухнул, но в последнее мгновение зацепился, повис на согнутом колене головой вниз, свободной ногой шевеля в воздухе, точно жук усиком; снова чуть было не упал, зацепился пяткой и висит, раскачиваясь, точно платок на веревке… Публика ревет в диком восторге, визг, адский хохот, сладкая мука… Миранда тоже визжит, но от настоящей боли, держась руками за живот и подогнув колени… Человек на проволоке, висящий на одной ноге, вертит головой туда-сюда, как тюлень, и, жестокий, шлет во все стороны издевательские воздушные поцелуи. Тут Миранда закрыла ладонями глаза и громко, во весь голос, закричала. Из-под пальцев у нее по щекам и подбородку катились слезы.

— Уведите ребенка. Немедленно уведите ее отсюда, — распорядился папаша, не успев даже стереть с лица смех. Он только покосился на Миранду и тут же снова перевел взгляд на циркача. «Отведи ее домой, Дайси», — громко приказала бабушка из-под приподнятой черной вуали. Дайси медленно, с негодованием, поднимается, не спуская глаз с повисшей на проволоке белой фигуры, тянет за руку безвольную, несчастную Миранду и волочит, проталкиваясь по башма-

кам и коленям, через весь ряд, потом вниз по дощатым ступеням и дальше, по песку с корьем, к выходу из шатра. Миранда тихо плачет и время от времени всхлипывает. На выходе стоит лилипут с острой бородкой, в колпачке, в тесных красных штанах и в туфлях с длинными загнутыми носами. Он держит тонкий белый жезл. Миранда заметила его, только когда чуть на него не натолкнулась. Одного с нею роста, он заглянул ей прямо в мокрое от слез, искаженное плачем лицо добрыми, нечеловеческими, как у близорукой собаки, золотистыми глазами. А потом вдруг, передразнивая, скорчил безобразную гримасу. Миранда разозлилась, закричала, замахнулась на него. Дайси сразу утащила ее прочь, но она все-таки успела заметить, как у него на лице внезапно появилось высокомерное, брезгливое, чисто взрослое выражение. Оно было ей хорошо знакомо. И это нагнало на нее нового страху: она же думала, что он не совсем человек.

— Обратный пропуск! Возьмите обратный пропуск! — крикнул какой-то несимпатичный человек, когда они выходили. Дайси прямо набросилась на него, сама чуть не плача:

— Мистер, вы что не видите, я же не смогу вернуться обратно. У меня вон ребенок на руках…

Какой мне прок от этой вашей бумажки?

Всю дорогу домой она в сердцах ворчала себе под нос:

— Маленькая безобразница… Пугливая дурочка… Как младенец… Никуда с ней не пойдешь… Ничего не посмотришь… Давай, давай, поторапливайся, чего плетешься. Всегда надо испортить удовольствие другим людям… Дух перевести не дашь, развлечься хоть немного… Иди давай, сама хотела домой, вот и топай, — и тащила Миранду по улице, сердитая, но осмотрительная, не переступая черты, за которой девочка могла бы пожаловаться: «Дайси сказала или сделала мне то-то»… В обращении с Мирандой Дайси дозволялось многое; но не все.

Возвратились из цирка почти затемно и сразу разбрелись по комнатам. Из-за каждой двери раздавались звуки разговора и смех. Дети рассказывали Миранде о том, что было после того, как она ушла: чудесные маленькие лошадки с плюмажами и с бубенчиками на уздечке, а на них ехали верхом хорошенькие такие обезьянки в бархатных курточках и в колпачках… Дрессированные белые козочки, они танцевали… Слоненок, который сидел, скрестив передние ноги, прислонившись спиной к решетке и разевая

рот, чтобы его кормили, ну, такой миленький!.. Еще клоуны, даже смешнее того, первого… Красавицы с золотыми волосами в белых шелковых трико, перепоясанных алыми атласными лентами, они кувыркались на белых трапециях и тоже висели, держась ногами, и перелетали с одной на другую, ну до того грациозно, прямо как птицы. Могучие белые кони, которые скакали круг за кругом по краю арены, и у них на спинах — танцоры и балерины! Один мужчина повис на зубах под самым куполом, а еще один засунул голову в пасть льву. Ах, сколько же всего она пропустила! Все получили уйму удовольствия, а она первый раз попала в цирк и ушла, да еще оставила без цирка Дайси. Бедная Дайси. Бедняжечка, бедняжечка Дайси. Дети, до этого дня вообще никогда о Дайси не думавшие, очень ее жалели, скорбно поджимали губы и злорадно посматривали, как терзается Миранда. Дайси так давно мечтала попасть в цирк! И надо же, Миранда испугалась. «Можешь себе представить, испугаться такого безобидного смешного клоуна!» — обращались они друг к дружке и сострадательно улыбались Миранде…

Этот день был важен еще и потому, что бабушка впервые позволила себя уговорить и

отправилась вместе со всеми в цирк. Из ее общих высказываний невозможно было понять, то ли в ее молодости вообще не было цирков, то ли были, но посещать их считалось неприличным. Во всяком случае, на основании своих неизменных взглядов, бабушка цирк не одобряла, хотя не отрицала, что сегодня немного позабавилась, однако там были зрелища и звуки, мягко говоря, не особенно поучительные для молодежи. Ее сын Гарри, вошедший в столовую во время детского раннего ужина, обвел взглядом сияющие лица всех этих братьев и сестер, кузин и кузенов и заметил:

— Что-то не видно, чтобы этой молодежи они принесли вред.

На что мать ему возразила:

— Плоды настоящего созреют в будущем, столь отдаленном, что ни я, ни ты, быть может, не доживем до того, чтобы проверить. В том-то и беда. И продолжала разливать горячее молоко, которым поливали масляные тосты.

Миранда сидела молча, свесив нижнюю губу. Отец улыбнулся ей.

— Вот ты, например, малышка, не видела представления, и много тебе от этого было пользы?

Миранда снова расплакалась; в конце концов

пришлось ее вывести; ужин прислали ей наверх. Дайси молчала и была вне себя. Есть Миранда не могла. Она старалась представить себе, словно вправду видела утром своими глазами, как чудесные существа в белом атласе с блестками и с алыми кушаками танцуют и резвятся на трапециях; как смешные обезьянки в пестрых одежках скачут верхом на чудных лохматых пони. Так она и уснула, и во сне придуманные воспоминания уступили место реальным: она увидела испуганное, горестное лицо человека в просторном белом комбинезоне с оборками — он падает, он сейчас разобьется на смерть — как можно над этим смеяться? — и страшную гримасу неулыбчивого лилипута. Она закричала во сне и села на постели, моля о спасении.

Вошла Дайси, тяжело топая толстыми босыми ступнями, выпятив большие, темные губы, елееле приподняв сонные веки.

— Ну, знаешь! — говорит она горячим, хриплым шепотом — Ты чего? Ей-Богу! Хочешь, чтоб тебя отшлепали? Весь дом подняла среди ночи…

Миранда подавлена собственными страхами. Она бы могла одернуть Дайси, поставить ее на место. Сказала бы: «Замолчи, пожалуйста, Дайси», или еще так: «Я не обязана тебя слушаться.

Я никого не обязана слушаться, кроме бабушки», что было, хоть и обидной, но истинной правдой. А еще можно было сказать: «Ты соображаешь, что говоришь?» Но минувший день все переставил. Миранда всей душой хотела одного: чтобы никто, включая Дайси, на нее не сердился. Раньше ей было безразлично, если даже ее поведение и раздражало сбившихся с ног взрослых. Но теперь пусть Дайси сердится, это неважно, только бы она не выключила свет и не оставила ее одну со страхами ночи, вместе с которыми снова придут сны. Она обхватила Дайси обеими руками и плача умоляла ее:

— Не надо! Не уходи от меня. Не… не сердись так! Я этого не перенесу-у-у!

Дайси с протяжным вздохом укладывается рядом, набираясь терпения и напоминая себе, что она как христианка должна нести свой крест.

— Ну, ну, спи, — говорит она обычным, добрым голосом. — Закрой глазки и спи спокойно. Я никуда не ухожу. Дайси вовсе не сердится, вот ни на столечко!..

Последний лист

Старушка няня сидит, вся сгорбившись, и с минуты на минуту ждет своей смерти. Бабушка при прощании предрекла ей с естественностью старости, что, наверно, они последний раз разлучаются на этом свете; они обнялись, поцеловали друг дружку в обе щеки и еще раз обменялись обещаниями встретиться на небесах. Няня уже приготовилась в путь. Ее обступили дети: «Тетя Нэнни, ты не думай! Мы тебя любим». Но она словно не слышала; ей было все равно, любят они ее или нет. Годы спустя Мария, старшая девочка, с болью думала, что они были недостаточно сердечны с няней. Они по-прежнему зависели от нее, позволяли ей брать на себя лишние заботы, и она трудилась больше, чем следовало. Она стала молчаливой, сгорбилась еще сильнее прежнего — вообще-то она была худая, но статная, с благородно вылепленным негритянским лицом, туго обтянутым угольно-черной кожей, никаких примесей в ее африканской крови, — но тут вдруг сдала и согнулась. По вечерам слышно было, как она, стоя на коленях у своей кровати, молит Бога, чтобы даровал ей отдых.

И когда из хижины на том берегу речки выехала одна негритянская семья — первое за долгие годы освободившееся жилье — Нэнни сходила туда, осмотрела его, а вернувшись, спросила у мистера Гарри: «Что вы думаете делать с этой хижиной?» Мистер Гарри ответил, что, наверно, ничего; и тогда няня попросила ее себе. Она сказала, что хочет иметь свой дом; за всю жизнь у нее не было собственного угла. Мистер Гарри сказал, конечно, пусть берет эту хижину. Но в семье все очень удивились и почувствовали себя немного обиженными. «Отпустите меня туда, дети, дайте дожить последние дни в покое», — сказала она им. Домик выскребли, отмыли и побелили, на стены набили полки, прочистили дымоход, отдали няне хорошую кровать и не особенно вытертый ковер и сказали ей, что она может взять из дому любые мелочи, какие пожелает. Ко всеобщему удивлению, выяснилось, что к некоторым вещам няня питала пристрастие и мечтала ими владеть, хотя всегда казалась довольной и ни в чем не нуждающейся. Она перебралась к себе, и дети потом признавались друг другу, до чего забавно и трогательно было видеть, как она старается при переезде не показывать своей радости; но все-таки они воспринимали его как зрелище,

предназначенное специально для них.

С той поры она жила в блаженной праздности, только шила лоскутные покрывала и плела шерстяные половички. Родные внуки и члены ее белой семьи ее навещали, и многие другие белые, никогда не владевшие никем из няниной родни, тоже к ней заглядывали, покупали у нее половички и приносили гостинцы.

Всю жизнь она ходила в шерстяных черных платьях или в коленкоровых с черно-белым узором, поверх — туго накрахмаленный белый передник, на голове — белый плоеный домашний чепец, а по воскресеньям — выходной из черной тафты. Смолоду и до последнего дня она блюла во всем строжайшую аккуратность. Но теперь это уже была не старая верная служанка Нэнни, освобожденная рабыня, а престарелая женщина банту, хозяйка со средствами, сидящая у себя на крыльце и наслаждающаяся свежим воздухом. Она стала повязывать голову голубым ситцевым платком, а в восьмидесятипятилетнем возрасте пристрастилась курить трубку из кукурузного початка. Черная радужка ее глубоко запавших старых глаз обрела шоколадный оттенок и расплылась по всему глазному яблоку. Зрение уходило, веки сморщились, запали, и

лицо ее стало похоже на слепую маску.

Дети, воспитанные в старомодном сентиментальном духе, всегда безмятежно считали, что няня — настоящий член семьи и полностью довольна своим положением, ее отселение, осуществленное твердо и без шума, послужило им чувствительным уроком. Годы шли, а няня знай себе сидела на пороге своей хижины. Дети росли, времена менялись, старый мир ускользал у них из-под ног, к новому они еще не приспособились. Им очень не хватало няни. Семейное достояние таяло, слуг становилось все меньше, и без нее им жилось ужасно трудно. Только теперь, увидев, как сразу после ее ухода все расползлось, потускнело и покатилось под откос, они полностью осознали, как много она для них делала. Дети не были обучены работать на себя, не умели и не склонны были делать длительные усилия, рассчитывать наперед. Ничему этому их не учили, и до самообразования им было еще далеко. Иногда няня поднималась по крутому речному откосу и приходила в гости. В таких случаях она делала по дому почти так же много, как в прежние времена, довольная, что может им показать, какую важную роль она когда-то играла в их доме. В благодарность, а также в залог того, что она при-

дет опять, они собирали для нее корзинки и тюки разных мелочей, которые ей так нравились, и кто-нибудь из ее правнуков, Скид или Хейсти, вез это все в тачке, провожая ее домой. На минуту она снова превращалась в ласковую, зависимую, старую служанку, родную душу: «Я знаю, что мои детки не отпустят меня с пустыми руками».

А дядя Джим Билли все еще хлопотал при доме — то чинит упряжь, то чистит лошадей, заделывает дыры в заборе, иной раз посадит в землю какое-нибудь растение или взрыхлит по весне почву под кустами. И при этом постоянно бормочет себе под нос, синие губы все время шевелятся в несвязных комментариях по поводу того, что было и что есть, и по поводу того, что будет, конечно, тоже, хотя уж с будущим-то, даже с самым ближайшим, его, казалось бы, ничего не связывает… Мария только после смерти бабушки узнала, что дядя Джим Билли и няня, тетя Нэнни, — муж и жена… Этот брак по расчету, заключенный во время оно между ними, как между царственными особами, по соображениям кровных связей и семейной стабильности, сам собой прекратил существование, когда исчезли эти причины… Они совершенно не обращали друг на друга внимания, словно забыли, что у них есть

общие дети (каждый говорил: «Мои дети»), и не сохранили общих воспоминаний, дорогих обоим. Няня переселилась в собственную хижину, даже не подумав о нем и не посмотрев в его сторону, а дядя Джим Билли не заметил ее отсутствия… Он спал на чердаке над коптильней, ел на кухне, когда вздумается, делал, что хотел, одинокий, как странствующий дух, и почти такой же невидимый… Но как-то однажды он проходил мимо няниного домика и увидел ее, сидящую на крыльце с трубкой во рту. Он присел рядом, со скрипом сгибая старые суставы, пристроился погреться на солнышке, точно дряхлый пес, и рад был бы тут и остаться, но няня не согласилась. «На что тебе одной эдакий домина?» — спросил он ее. «Мне в самый раз, — ответила она, не колеблясь. — Я не собираюсь последние мои дни тратить на уход за мужчиной, — добавила она. — Я свое время отслужила, все, сколько мне положено, отработала, и дело с концом». И дядя Джим Билли потащился обратно вверх по береговому склону, вернулся к себе на чердак и никогда больше к ней не подходил…

Летними вечерами она засиживалась в одиночестве далеко затемно, куря трубку от комаров и ожидая, когда потянет ко сну. Она ничего не бо-

ится, говорила няня, никогда не боялась и впредь бояться не собирается. Она давно привыкла считать ночь благодатным временем, когда можно лечь и до следующего утра не работать. И уже совсем освободившись от работы, она все равно с нетерпением дожидалась прихода ночи, словно вся усталость, накопившаяся за долгую жизнь, отложилась в костях и просит отдохновения. Но когда наступала ночь, няня спохватывалась, что утром-то она ведь может лежать в постели, сколько ей вздумается. И она оставалась сидеть на крыльце, упиваясь сознанием, что в ее распоряжении — целая вечность блаженства.

Когда в прежние времена мистер Гарри пытался возражать ей по какому-нибудь незначительному поводу, она одерживала над ним верх, ударяя себя узкой ладонью по старой, высохшей груди и восклицая: «Мистер Гарри, неужто вам не стыдно так говорить со мною? Я выкормила вас вот этой грудью!»

Гарри знал, что, строго говоря, это неправда. Няня выкормила троих его старших братьев. Однако он всегда отвечал ей: «Ладно, ладно, мэмми, уговорила!» — в точности так же, как отвечал и родной матери, после того как дал волю своей природной вспыльчивости, словно пытаясь

очистить атмосферу дома от душной матриархальной тирании, в которую попал после смерти отца. В конце концов он уступал, поскольку принадлежал к позднему поколению сыновей, которые, хоть и нехотя, с горечью, но признавали свой иррациональный, неоплатный долг перед выносившим их чревом и вскормившей грудью.

Фиговое дерево

У старой няни была привычка, причесывая или застегивая Миранде платье на спине, зажимать ее коленями, чтобы не дергалась. Если стараешься вырваться, она начинает жать еще сильнее, Миранда тоже прибавляет усилия, но вырваться ей никогда не удается. Няня собирает Мирандины волосы на макушке, стягивает резинкой, сверху нахлобучивает по самые уши и брови свеженакрахмаленный бело-синий чепец и пришпиливает к пучку волос большой безопасной булавкой, приговаривая:

— Как-то надо же добиться, чтобы ты постояла смирно. Ну вот. Смотри только не снимай до захода солнца.

— Я вообще не собиралась чепец надевать, в нем жарко. Я сказала: шляпу, — ворчит Миранда.

— Не будет тебе никакой шляпы. Пойдешь в том, что тебе надели, — начальственным тоном, специально предназначенным для мытья и одевания, говорит няня. — Да я вот ужо пришью его тебе прямо к макушке. Твой папаша говорит, если у тебя выступят веснушки, вина будет на мне. Вот так. Готово. Можно отправляться.

— А куда мы едем, тетечка?

Миранда никогда не успевает поинтересоваться заранее. А потом удивляется. Один раз она заснула у себя в кровати с котенком, мурлычущим на подушке, а проснулась на жесткой вагонной полке с грелкой под боком. Рядом, глядя перед собой широко открытыми глазами, лежала бабушка в розово-бежевом клетчатом капоте. Вот так чудеса, подумала Миранда. «Бабушка! — позвала она. — Куда это мы едем?» А оказалось, что просто в Эль-Пасо, в гости к дяде Биллу.

Но сейчас за воротами дожидался тарантас, в упряжке — Том и Дик, на крыше и по бокам привязаны коробки и корзины. Бабушка одна медленно обходила дом, бросая по углам последний взгляд. Время от времени она подбирала что-нибудь и запихивала в большую кожаную сумку, которая висела у нее на локте и уже была набита до отказа. Через другой локоть у нее висе-

ла длинная черная мохеровая юбка, которой она пользовалась для верховой езды, надевая поверх другой юбки. Следом за бабушкой двигался ее сын Гарри, отец Миранды. Он говорил:

— Не понимаю, зачем вдруг ни с того ни с сего ехать в Галифакс?

Не замедляя хода, бабушка отвечала:

— Туда ровно пять часов езды.

На самом деле бабушкина ферма называлась вовсе не Галифакс, а Кедровая роща, но папаша называл ее Галифакс. «Зной, как в Галифаксе», — говорил он, когда бывало особенно жарко. В Кедровой роще, действительно, было жарко, но они ездили туда каждое лето, потому что бабушка любила эту ферму.

— Ты и не родилась, когда я уже пятьдесят лет подряд ездила в Кедровую рощу, — говорила она Миранде, а Миранда хорошо помнила прошлогоднюю поездку и смутно — позапрошлогоднюю. Кедровую рощу она любила за то, что там арбузы, и кузнечики, и длинные шпалеры китайской ягоды в цвету, а под кустами в тени, растянувшись, спали легавые; во сне они взвизгивали, дергали веками, мелко перебирали лапами и даже тявкали потихоньку, дядя Джим Билли говорил, что им всегда снится охота. В полдень, если посмотреть

за пышный зеленый луг, туда, где бежит ручей, прямо на глаз виден зной: все в голубой, сонной дымке, и стонут черные горлицы.

— Мы едем в Галифакс, тетечка?

— Хочешь так много знать — спроси у папаши.

— Мы едем в Галифакс, папа?

Папаша поправил у нее на голове сбившийся набок чепец и вытянул из-под него на щеки несколько колечек.

— Смотри, берегись загара. Нет, нет, не запихивай их обратно. Пусть хорошенькие кудряшки выглядывают. Вечером перед ужином пойдем купаться в Омуте.

А бабушка сказала:

— Не говори: Галифакс, дитя. Говори: Кедровая роща. Надо называть вещи своими именами.

— Да, мэм, — ответила Миранда.

Бабушка еще раз повторила, обращаясь к сыну:

— Туда ровно пять часов езды. Твоей тетке Элайзе хватит времени вынуть из коробки телескоп и взять мою лошадь. Она уже три часа как там. Должно быть, уже установила телескоп на крыше курятника. Надеюсь, никаких неприятностей не будет.

— Не надо так волноваться, мэмми, — говорит ее сын, стараясь скрыть досаду.

— Я не волнуюсь, — отвечает бабушка, перекладывая юбку для верховой езды из одной руки в другую, где у нее сумка. — Напрасно я везу ее с собой, — говорит она. — Похоже, на это лето можно ее забросить куда подальше.

— Пустяки, мэмми. Мы пошлем на Черную ферму за Помпеем. Смирная лошадь и хорошо ходит под седлом.

— Можешь сам на нем ездить, — говорит бабушка. — Я не сяду на Помпея, пока жив Скрипач. Скрипач — моя лошадь, и я не допущу, чтобы неосторожный ездок испортил ему губу. Элайза никогда не умела ездить верхом и теперь уж не научится….

Миранда подпрыгнула от радости и убежала. Оказывается, едут в Кедровую рощу! Просто удивительно: взрослые не умеют прямо ответить ни на один вопрос, вот только «нет» легко соскальзывает у них с языка. Уже отбежав, Миранда услышала, как бабушка спрашивает: «Гарри, тебе нигде не попадалась за последнее время моя плетка?», а папаша отвечает, по крайней мере, ему, наверно кажется, что это ответ: «Мэмми, ей-Богу, хватит, а?»

И правда, Миранда тоже так считает.

Еще у папаши странная привычка звать бабуш-

ку «мэмми». Тетя Джейн, старая няня, — вот кто мэмми. А иногда он называет бабушку «мама». Но она ведь и не мама, она — бабушка. Мама у них умерла. «Умерла» — это значит, ее нет и никогда не будет. Умирают все, и люди, и остальные. Какой-нибудь человек умрет, и длинный хвост экипажей медленно тянется к каменистому гребню холма, а оттуда вниз, к реке, и все время, не переставая, звонит и звонит колокол, а этого человека, который умер, больше никто уже никогда не увидит. Гораздо чаще умирают котята, и цыплята, и особенно маленькие индюшата, иногда даже телята, а коровы и лошади почти никогда. На камнях попадаются шкурки от ящериц, но внутри никакой ящерицы нет. Если волосатая гусеница свернулась кружочком и не шевелится, как ни подталкивай ее палочкой, это значит, она умерла, верный знак.

Когда Миранде попадается какое-нибудь существо, неподвижное и немое, или вообще как-то отличающееся по виду от живых, она всегда обязательно зарывает его в могилку и сверху кладет цветочек и гладкий камешек. Даже кузнечиков. Так полагается поступать со всеми, кто умер. «Так, и никак иначе, — всегда приговаривает бабушка, когда учит какому-нибудь правилу. — Это

полагается делать так, и никак иначе!»

Миранда побежала вниз по мощенной плоскими камнями кривой дорожке, перепрыгивая туда-сюда через кустики травы. Сначала сбоку шли гранатовые деревья вперемешку с жасминовыми кустами; потом под деревьями сделалось совсем темно — это начиналась фиговая роща. Миранда подошла к своему любимому фиговому дереву, его длинные нижние ветви склонялись почти до самого ее подбородка. Здесь можно рвать фиги, не карабкаясь наверх и не обдирая коленки. В прошлый раз бабушка забыла захватить с собой на ферму фиги, их ведь и в Кедровой роще довольно. Но там фиги крупные и мягкие, беловато-зеленые. А тут, в городе, они черные и сахаристые. Непонятно, как это бабушка не замечает разницы. Под деревьями воздух напоен сладким запахом, по земле бродят сбежавшие из птичника куры и поклевывают опавшие плоды. Одна наседка с цыплятами копалась в земле и квохтала. Разгребет когтями землю вокруг лежащей на виду фиги и зовет своих детей, словно это червяк, которого она для них выкопала.

— Ах ты хитрая, — говорит Миранда. — Обманываешь.

Все цыплята прибежали к матери под Ми-

рандино любимое фиговое дерево, только один цыпленок остался, где был. Лежит на боку, глаза закрыл, рот разинул. Тело кое-где покрыто желтым пухом, и уже перышки виднеются, а в других местах он голый и загорелый.

— Лежебока, — сказала Миранда, ткнув его носком туфельки. И тут поняла, что он мертвый.

Ах, как нехорошо, ведь с минуты на минуту все отправляются в Галифакс. Бабушка никогда не «уезжает», она всегда «отправляется». Миранде надо страшно торопиться, чтобы похоронить цыпленка по всем правилам. Она вернулась в дом на цыпочках, только бы ее не заметили, а то бабушка обязательно спросит: «Куда ты идешь, дитя? Что у тебя в руке? Где ты это взяла? Кто тебе разрешил?» И после того, как Миранда ответит на все вопросы, даже если ничего дурного не обнаружится, все равно настроение уже будет не то. Да и сразу от нее не отделаешься.

Миранда тихонечко выдвинула ящик своего комода, третий снизу с левой стороны, где завернутые в красивую бумагу лежат ее новые туфельки в белой коробке, как раз подходящего размера для цыпленка, у которого уже показались кончики перьев. Она осторожно вытянула шуршащую оберточную бумагу, вынула туфельки и

слегка вздрогнула: внизу под окнами заскрипели по гравию колеса тарантаса и раздался зычный возглас старого дяди Джима Билли: «А ну, осади назад, коняги! Назад, вам говорят!»

Значит, он разворачивает Тома и Дика, так чтобы стояли головами в сторону Галифакса. Сейчас начнут искать ее, звать, торопить, и у нее совсем не останется времени, а они ничего и слушать не станут.

Вырыть лопаткой ямку в мягкой сухой земле было совсем не трудно. Миранда обернула тощенького цыпленка в цветную бумагу, красиво уложила в коробку и насыпала сверху холмик, как делают у людей. И только успела, встав на коленки, выровнять сверху холмик, как неизвестно откуда раздался загадочный тихий плачущий голосок: виип! виип! виип! Три раза. Он слышался словно бы снизу, из-под насыпанного ею холмика. «Господи, да что же это?» — спросила Миранда вслух у самой себя. Она сдвинула чепчик с ушей, прислушалась изо всех сил. Виип, виип, — повторил жалобный голосок. А ее уже зовут, все громче, все настойчивее, человеческие голоса приближаются. Она громко откликнулась:

— Да, да, тетечка! Еще одну минутку!

— Немедленно иди сюда! Сейчас же! Мы уез-

жаем!

— Подождите меня еще чуточку!

По опушке фиговой рощи к ней шел папаша.

— Поторопись, малышка! А то оставим тебя тут.

Миранда не могла этого вынести. Она побежала со всех ног к нему навстречу, вся дрожа от страха. Папаша посмотрел на нее с укоризной, как всегда, когда сам ее испугает, а потом удивляется, что она испугалась. Он сказал ей добрыми словами, но сердитым голосом: «Перестань дрожать, малышка, ты же знаешь, что мы тебя никогда не оставим». Миранде хотелось возразить: «А зачем же вы тогда так говорите?» Но она не могла, она прислушивалась, не зазвучит ли опять тот жалобный голосок: виип, виип!? Она замедлила шаги, упираясь, оглядываясь назад, но папаша повел ее к тарантасу. Как же так? Ведь если кто умер, он уже не издает звуков! Мертвые не могут. Это — один из признаков смерти. А Миранда сама слышала.

Папаша сел впереди и взял вожжи, старому дяде Джиму Билли оставалось только слезть и открыть ворота. Бабушка и няня уселись на заднее сидение. Миранду посадили посредине между ними. Она любила отправляться в путь, когда

все улыбаются и суетятся, а потом, устроившись поудобнее, смотрят на небо: какая их ждет погода? — а лошади дергают, натягивают постромки, рессоры скрипят и качаются, и ты чувствуешь, что и правда куда-то едешь. Вечером она будет плескаться в ручье вместе с Марией и Полем и при дяде Джиме Билли, а когда стемнеет, полежит в ночной рубашке на траве, для прохлады, и перед сном все будут пить лимонад. Сестрица Мария и братец Поль будут уже смуглые, как уголь, потому что их отправили вперед, едва только кончились занятия в школе. У сестрицы Марии оказались веснушки, и папаша рассердился. «Смотри не снимай чепец, — строго наказал он Миранде. — Имей в виду, еще и твое лицо испортить я не позволю». Но все-таки что это был за звук? У Миранды гудит в ушах и болит под ложечкой. Она должна во что бы то ни стало вернуться и выпустить цыпленка. Сам он никогда не выберется, весь закутанный в оберточную бумагу и засунутый в коробку из-под туфель. Нет, без нее ему не вылезти.

— Бабушка, мне надо вернуться. Мне обязательно, непременно надо вернуться.

Бабушка берет Миранду за подбородок, поворачивает лицом к себе и внимательно на нее

смотрит, как смотрят только взрослые. Взгляд у бабушки всегда одинаковый — ни добрый, ни грустный, ни сердитый, ни усталый. Ее глаза просто смотрят, голубые и неподвижные.

— Что с тобой, Миранда, что случилось?

— Ох, мне просто надо вернуться. Я… я забыла одну важную вещь.

— Перестань плакать, глупая, и скажи мне, в чем дело.

Миранда не может перестать. У папаши озабоченный вид.

— Мэмми, может быть, малышка нездорова? — Он подносит свой носовой платок к ее лицу. — Что такое с моей деточкой? Съела что-нибудь?

Чтобы плакать, как нужно, во весь голос, приходится встать на ноги. Колеса крутятся, скрежеща по гальке, тарантас качается из стороны в сторону, бабушка держит ее за одну руку, папаша — за другую и смотрят друг на друга поверх ее головы таким знакомым Миранде неподвижным взглядом. Глаза у них совершенно одинаковые. Миранда моргает и ждет, кто пересилит. Но вот бабушка опускает свою руку и уступает Миранду отцу. Он передает вожжи дяде Джиму Билли, а ее поднимает через спинку сидения к себе. Она откидывается на его колени и грудь, словно в

большом кресле, и сразу же перестает плакать.

— Мы не можем повернуть обратно просто оттого, что так кому-то в голову взбрело, — объясняет папаша вразумительным тоном, каким всегда говорит с нею, когда бабушка ее бранит. И сует ей носовой платок. — Ну-ка, высморкайся хорошенько. Что ты там забыла, детеныш? Мы тебе найдем еще лучше. Куклу, да?

Миранда кукол терпеть не может. Никогда в них и не играла. Она сдирала с них скальп и привязывала на головы котятам. А котята сразу же стаскивали. Очень смешно. И платья кукольные надевала на котят, и они в два счета из них вылезали. Такие сообразительные! Миранда вдруг снова заплакала во весь голос:

— Хочу свою куклу-у! — чтобы только заглушить тот жалобный голосок: виип, виип…

— Ну, если в этом только все дело, — успокоил ее папаша, — в Кедровой роще кукол целая груда. И добрых сорок новеньких котят. Как тебе это?

— Сорок? — переспрашивает Миранда.

— Около того.

Старая няня протягивает ей руку.

— Гляди-ка, малышка, я прихватила для тебя черных фиг.

Лицо у старой няни черное и морщинистое, в

своем белом, с оборками, чепце она сама похожа на переспелую фигу. Миранда, крепко зажмурив глаза, качает головой.

— Разве прилично так себя вести, когда няня предлагает тебе угощение? — спрашивает бабушка с мягкой укоризной в голосе.

— Нет, мэм, — соглашается Миранда. — Спасибо, тетя няня.

Но фиги она так и не взяла.

Двоюродная бабушка Элайза, стоя на садовой лестнице, приставленной верхним концом к плоской крыше курятника, учила Гинри, как устанавливать телескоп.

— Для парня, что телескопа никогда в глаза не видел, — говорит она бабушке, которая на самом-то деле ее родная сестра София Джейн, — он не так уж и плохо справляется, если ему объяснять.

— Пора тебе перестать лазить по садовым лестницам, Элайза, — говорит бабушка. — В твои-то годы.

— У тебя просто нервы никуда не годятся, София, уверяю тебя. Когда ты видела, чтобы со мной что-нибудь случалось?

— Все равно, — язвительно возражает бабушка. — Надо вести себя соответственно возрасту. В твои годы…

Двоюродная бабушка Элайза подобрала одной рукой свой толстый коричневый плиссированный подол, а другой перехватила следующую перекладину и поднялась еще на ступеньку выше.

— Теперь, Гинри, — крикнула она на крышу, — разверни его объективом к западу и оставь в горизонтальном положении. Когда понадобится, я направлю его так, как мне будет нужно. И слезай пока. — Она и сама слезла на землю и сказала сестре: — Раз ты можешь галопировать на лошади, София Джейн, я, мне думается, могу лазить по лестницам. Я моложе тебя на три года, а в твои годы это имеет значение!

Бабушка порозовела и стала такого цвета, как изнанка раковины, что лежит у нее на рабочем столе и содержит в себе шум моря; Миранда знала, что из двоих сестер миловидной всегда была бабушка, она и теперь хорошенькая, а двоюродная бабушка Элайза и теперь не хороша собой и никогда не была хороша. Миранда смотрела и слушала — в мире все было для нее странным и все хотелось знать — и видела двух старух, которые важничают, оттого что они — бабушки, и целыми днями гоняют младших туда-сюда и всегда и во всем правы, а молодые — ни в чем и

никогда, разве только немедленно и без разговоров исполнят то, что им было велено. И вот сейчас две старушки бранятся друг с другом, как две школьницы или даже как Миранда с сестрицей Марией — переругиваются, и язвят, и дразнятся, и нарочно говорят друг дружке обидные вещи. Миранде сделалось грустно, и непривычно, и немножко страшно, и она стала потихоньку пятиться прочь.

— Ты куда это, Миранда? — будничным голосом спросила бабушка.

— Я… просто в дом, — ответила Миранда, и сердце у нее упало.

— Подожди, пойдем вместе, — распорядилась бабушка. Она худенькая и бледная, с белыми, как снег, волосами. Двоюродная бабушка Элайза рядом с нею высится, как гора, ее волосы с проседью, отсвечивающей серебром, похожи на завитой парик, у нее очки в стальной оправе, желтовато-табачные глаза и такого же цвета широкая юбка, и пахнет от нее тоже табаком. Проходя в дверь, она занимает весь проем. А когда садится в кресло, то его не видно, кажется, будто она держится просто на подогнутых ногах.

Бабушка расположилась в дальнем конце комнаты и принялась рыться в своей рабочей

корзинке, делая вид, будто ничего не замечает, а двоюродная бабушка Элайза вынимает у себя из кармана коричневый флакончик, вытаскивает пробку, засыпает по щепотке в каждую ноздрю, громко чихает, вытирает нос большим белым накрахмаленным платком, поднимает очки на лоб, берет прутик с размочаленным концом, вставляет в коричневый флакончик, крутит там и, засунув в рот, прикусывает зубами. Миранда слыхала об этой постыдной привычке женщин низших сословий, но чтобы леди брала в рот палочку с табаком, такого никогда не было, по крайней мере, в их семействе. И вот, пожалуйста, двоюродная бабка Элайза, бесспорно леди, хотя и не особенно красивая, жует табачную палочку. Миранда знает, как к этому относится ее бабушка, и так таращится на Элайзу, что из глаз выступили слезы. Двоюродная бабка Элайза, в свою очередь, вглядывается в нее.

— Слушай-ка, девица, если я дам тебе пастилку, ты перестанешь болтаться у меня под ногами?

Из другого кармана она достала розовый помятый шарик в растрескавшейся сахарной глазури.

— На-ка вот, и чтобы я тебя сегодня больше не видела.

Миранда поспешила убраться из комнаты.

Конфету она зажала в кулаке, и, пока дошла до кухни, та расквасилась и сочилась между пальцами. Миранда открыла кран и смыла пахучую жидкость. После такого проступка показаться двоюродной бабке Элайзе на глаза было страшно. Так и слышала вопрос: «Как это ты так быстро разделалась с той пастилкой, дитя?»

Миранда совсем забыла то, что обычно ее интересовало, — котят, свинок, цыплят, кроликов и всякую, другую живность, лишь бы они были детеныши и можно было их гладить и кормить; теперь ее притягивали удивительные замашки двоюродной бабушки Элайзы, она ходила за Элайзой по пятам, не спуская с нее глаз, или сидела за обеденным столом и тоже таращилась на нее, потому что двоюродная бабка Элайза, когда не глядела на крыше в телескоп, — а в телескоп она обычно глядела перед самым рассветом или как только стемнеет, — в остальное время расхаживала по саду с микроскопом и лупой и рассматривала что-нибудь на коре дерева или в гуще травы. Иногда принесет в дом какой-то сухой листок или кусочек коры, разложит на бумажке и долго-долго смотрит, неподвижная, будто на молитве. За столом разрежет кусок картофельной шелухи или что-нибудь у себя на

тарелке, разглядывает, пригнувшись, и гудит: гм, гм. Бабушка не разрешала детям приносить к столу посторонние предметы и отвлекаться, за столом надо есть, а не играть. Она, сколько могла, старалась не обращать внимания на манеры сестры, но однажды, когда двоюродная бабка смотрела в микроскоп на изюминку, гудя себе под нос, точно пчела, бабушка не выдержала и сказала:

— Элайза, если там что-то интересное, дай мне посмотреть после обеда. Или просто расскажи.

— Ты все равно не поймешь, — равнодушно ответила двоюродная бабка, убрала микроскоп и принялась доедать пудинг.

Наконец, уже перед самым отъездом, двоюродная бабка Элайза пригласила детей с собой на крышу посмотреть небо в телескоп. Они испуганно озирались и стояли молча, как чужие. Миранда увидела только большой ослепительно-белый круг холодного света. Она знала, что это луна, и восторженно воскликнула:

— Ой, ну совсем, как другой мир!

— Ну, конечно, дитя, — отозвалась Элайза своим хриплым, но подобревшим голосом. — Там другие миры, миллион других миров.

— Таких же, как наш? — робко спросила Ми-

ранда.

— Никто не знает, дитя…

— Никто не знает, никто не знает, — пропела Миранда на мотив, звучащий у нее в голове. Когда все пошли обратно, она, охваченная восхищением, немного отстала и шла сзади за качающимся фонарем в руке у двоюродной бабушки Элайзы и за ее пышной плиссированной юбкой. Они шли росистой тропой через фиговую рощу, такую же, как та, что у них в городе. На ранней росе особенно сладко пахли молочные листья. Пробираясь под низко нависшими ветвями, Миранда по привычке подняла руку и коснулась зелени — на счастье. В этот миг у нее под ногами раздался тихий, жуткий, тревожный звук. «Виип, виип, виип, виип…» — плакал горестный голосок из-под земли, из могилы.

Миранда подскочила, как напуганная лошадка, и налетела сзади на пятки двоюродной бабки Элайзы.

— Ой-ой-ой! Подождите!

— Что такое, дитя?

Миранда вцепилась в протянутую теплую, пахнущую табаком руку.

— Там из-под земли что-то говорит: «Виип, виип!»

Двоюродная бабушка наклонилась к Миранде, обняла за плечи, прислушалась.

— Ты услышала? Но это вовсе не под землей. Это поют первые древесные лягушки, они предсказывают, что будет дождь. «Виип, виип» — слышишь?

Миранда глубоко, судорожно вздохнула и вправду услышала: звук доносился из гущи древесной кроны. И они пошли дальше, Миранда за руку с двоюродной бабушкой Элайзой.

— Вообрази, — рассказывала Элайза самым научным тоном, — эти древесные лягушки, когда меняют кожу, стягивают ее через голову, как рубашку. И съедают. Можешь себе представить? На них такие красивые узоры, я тебе как-нибудь покажу под микроскопом.

— Большое спасибо, мэм, — все-таки спохватилась и вежливо сказала Миранда, хотя на самом деле не помнила себя от счастья, ведь она слышала пение древесных лягушек: «Виип, виип…»

Могила

Дед, скончавшийся больше тридцати лет назад, был дважды потревожен в своем вечном покое по причине верности и собственнического ин-

стинкта его вдовы. Она перевезла его останки сначала в Луизиану, а потом в Техас, словно искала подходящее место для своей могилы и знала, что туда, откуда она уехала, ни при каких обстоятельствах не вернется. В Техасе она устроила маленькое кладбище на краю участка своей первой фермы, но так как родственные связи множились, и родня из Кентукки тоже понемногу перебиралась в эти края, под конец на ее семейном кладбище собралось добрых двадцать могил. После бабушкиной смерти часть ее земли была отрезана на продажу в интересах некоторых из ее детей, и кладбище оказалось как раз на отрезанном участке. Необходимо было вырыть из могил покойников и перезахоронить на фамильном участке большого нового общественного кладбища, где уже была похоронена бабушка. Теперь, наконец, ее муж будет во веки веков лежать с нею рядом, как она задумала с самого начала.

Бывшее семейное кладбище представляло собою милый запущенный садик, где росли вперемешку розовые кусты, клочковатые сосны и кипарисы; тут и там из высокой духовитой травы торчали простые, гладкие каменные надгробия. Когда однажды знойным днем Миранда и ее брат Поль, часто ходившие вместе стрелять кроликов

и голубей, забрались туда, аккуратно поставив свои винчестеры у ограды, могилы оказались разрыты и пусты. Миранде было девять лет, Полю — двенадцать.

Они наклонялись над глубокими, строго прямоугольными ямами, многозначительно переглядывались, уважительно говорили друг дружке: «Это были могилы!» Но их слова не выражали особого, кладбищенского душевного состояния, а только приятное, захватывающее возбуждение оттого, что они видят нечто, еще никогда не виденное, очутились там, где никогда еще не бывали. Но примешивалась и толика разочарования: оказывается, ничего особенного, все совершенно обыкновенно. Пусть когда-то тут много лет лежал гроб, но теперь гроба нет и осталась просто яма в земле. Миранда соскочила в яму, где когда-то покоились кости ее деда, поковыряла земляную стенку, просто так, для удовольствия, взвесила на ладони комок земли с примесью сосновых иголок и каких-то листочков. От него шел приятный, сладкий запах распада. А когда он раскрошился, внутри оказался серебряный голубок величиной с орех, с распростертыми крылышками и веерообразно распущенным хвостом. На груди у голубка было круглое углубление. Миранда повернула

его к солнцу и оказалось, что внутри углубления нарезаны завитки. Она вылезла из ямы, обрушив с краю насыпанную землю, и крикнула Поля: она нашла одну вещь, пусть попробует угадать, что… Его улыбающееся лицо высунулось из соседней могилы. Он махал сжатым кулаком: «Я тоже кое-что нашел!» Они сошлись и принялись состязаться: кто раньше и с которой попытки угадает, что у другого в руке? Все мимо. Наконец разжали кулаки. Оказалось, что Поль нашел толстое золотое кольцо с хитрым узором из цветов и листьев. Миранда была повержена. Ей ужасно захотелось взять кольцо себе. А Поль больше заинтересовался голубем. После недолгого препирательства был произведен обмен. Зажав голубя в руке, Поль сказал: «А ты знаешь, что это такое? Шайба к винту для крышки гроба!.. Пари, ни у кого на свете такого нет!»

Миранда бросила на свою находку равнодушный взгляд. Золотое кольцо она надела на большой палец, и оно пришлось как раз в пору. «Я думаю, нам надо уходить, — сказала Миранда. — А то, может быть, кто-то из негров нас заметил и скажет кому-нибудь». Они знали, что эта земля продана, кладбище им больше не принадлежит, они вторглись на чужую территорию. Поэтому

они тихонько перелезли обратно через забор, вскинули винчестеры через плечо — дети с семилетнего возраста стреляли в цель из разного огнестрельного оружия и привыкли с ним обращаться — и побрели дальше бить кроликов, голубей и прочую мелкую живность, какая подвернется. В этих походах Миранда всегда шла след в след за Полем и подчинялась его указаниям: как поступить с винтовкой, перелезая через забор; каким способом установить ее стоймя дулом вверх, чтобы она не соскользнула и не выстрелила; до каких пор выжидать, прежде чем самой спустить курок, а не бабахать сразу в воздух и портить Полю охоту, Поль-то действительно стрелял метко, если ему не мешать. Но иногда, когда прямо у нее под носом вдруг вспорхнет птица или из-под самых ног выпрыгнет кролик, Миранда все-таки могла, забыв обо всем, сгоряча вскинуть винчестер и надавить на крючок. Она вообще редко попадала в цель. У нее был неправильный подход к охоте. Брат часто сердился на нее. «Тебе дела нет, хоть ты промазала, хоть попала, — ворчал он. — Разве так охотятся?» Миранда не понимала, почему он сердится. Сам он у нее на глазах швырял оземь шляпу и вопил от ярости, когда промахивался.

— В стрельбе мне больше всего нравится спускать курок и чтобы грохнуло хорошенько, — ни с того ни с сего с возмутительным простодушием призналась Миранда.

— Тогда шла бы в тир и била по мишеням, — негодует Поль.

— Я бы не прочь, но так мы заодно гуляем.

— Ну, ладно. Только держись сзади и не мешай мне, — говорит Поль. Он любит, если уж подстрелил добычу, быть уверенным, что выстрел был его. Миранда сама попадает в птицу дай Бог один раз из двадцати, но если они стреляли вместе, одновременно, всегда спорит, что это ее добыча. Надо же, какая глупость. И как несправедливо, слушать противно.

— Давай условимся: первый голубь, которого мы увидим, или первый кролик — мой, — предложил он. — А следующий — твой. Запомни и не хитри.

— А если змея? — спрашивает Миранда — Можно, змея первая будет моя?

Крутя большим пальцем и любуясь блеском золотого кольца, Миранда теряет интерес к охоте. Одета она в летнюю будничную одежду: синий комбинезон, голубая рубашка, крестьянская соломенная шляпа и грубые коричневые сандалии

на босу ногу. Брат одет так же, только в более суровых бурых тонах. Миранда вообще любит комбинезоны больше всякой другой одежды, но в округе они производят скандальное впечатление, потому что год на дворе 1903-й, и в сельской местности еще живы обычаи соблюдать в женской одежде старосветскую благопристойность. Их отца порицают за то, что у него девочки одеваются, как мальчишки, и разъезжают по окрестностям верхом, сидя без седел, по-мужски. Старшая сестра Мария, личность бесстрашная и самостоятельная, хоть и любит строить из себя даму, носится галопом, только обвязав конскую морду веревкой. А люди говорят, что семья без матери катится под уклон, тем более, когда не стало бабки, которая держала их в руках. Поговаривают, что бабка в своем завещании обошла сына Гарри, и он испытывает денежные трудности. Некоторые его давние соседи злорадно прикидывают, что теперь он, пожалуй, перестанет так заноситься и в конюшне у него поубавится чистокровных лошадей. Миранда все это знала, хотя откуда, непонятно. Она встречала на дороге простых старух, которые курили кукурузные трубки и поминали ее бабушку с глубоким почтением. Они скашивали на внучку старческие подслепо-

ватые глаза и говорили ей: «Как вам не стыдно, мисси? В таком виде на люди показываться — это против Священного писания. О чем только ваш папаша думает?» Миранде было немного стыдно, потому что, со своим тонким социальным чутьем, пропитавшим все ее существо, она понимала, что оскорблять вкус людей — нехорошо, невежливо, пусть даже эти люди — вредные ворчливые старухи; но она доверяла мнению отца, и потом, в такой одежде очень удобно. Папаша так и говорил: «Комбинезон — это как раз то, что надо, и платья целее будут, в школу ходить...» Она считала такие рассуждения разумными и естественными. Ее воспитывали в строгой экономии. Расточительность вульгарна. И к тому же, это грех. Такова истина. Она слышала это дома тысячу раз и никогда не подвергала сомнению.

И вот теперь это кольцо, сияющее чистым золотом на ее довольно грязном пальце, внушило ей неприязнь к испачканному комбинезону и босым ногам в грубых сандалиях, выглядывающим между толстыми коричневыми ремешками. Ей захотелось вернуться в дом, принять холодную ванну, щедро обсыпаться Марииным фиалковым тальком — если, конечно, самой Марии поблизости не окажется и некому будет возра-

жать, — надеть свое самое легкое, самое нарядное платье с пышной лентой вокруг пояса и усесться в плетеное кресло под сенью дерев... Это, понятно, было еще не все, чего ей хотелось; ее смутно потянуло к роскоши, к богатой жизни, которую она лишь неясно себе представляла на основании семейных легенд о былом изобилии и праздном образе жизни. Но простые удовольствия были доступны и теперь, и Миранда решила получить их, не откладывая. Она стала понемногу отставать от Поля и уже была готова повернуть обратно, ни слова не говоря брату. Но потом раздумала — ведь Поль бы никогда так с ней не поступил, и она тоже должна его предупредить, что уходит. Выскочил вспугнутый кролик — она без спора уступила его Полю, и он уложил его с одного выстрела.

Когда Миранда поравнялась с Полем, тот, опустившись возле кролика на колени, рассматривал только что нанесенную рану.

— Прямо в голову навылет, — удовлетворенно заметил он, хотя стрелял наобум, не целясь.

Вытащив свой острый охотничий нож, он быстро и ловко снял с кролика шкурку. Дядя Джим Билл умел их дубить, так что у Миранды для всех кукол имелись меховые шубки, она хотя и не

любила кукол, но ей нравилось одевать их в меха. Дети стояли на коленях друг против друга над убитым кроликом. Миранда восхищенно наблюдала за тем, как Поль стягивает свежую шкурку, будто снимает перчатку. Ободранная тушка осталась темно-красная, скользкая, твердая; Миранда потрогала двумя пальцами длинные, тонкие мускулы с плоскими серебристыми полосками сухожилий, которыми они прикреплялись к суставам. Брат приподнял странно раздутое брюшко.

— Смотри-ка, — сказал он Миранде сдавленным, удивленным голосом: — у нее должны были родиться крольчата.

Осторожно действуя ножом, Поль взрезал брюшко от середины к бокам. Обнажился красный мешочек. Он еще раз провел лезвием ножа, мешочек раскрылся, а там оказалась кучка крохотных кроликов, каждый обернут в красную пленку. Брат снял пленку, и крохотные кролички оказались на виду, у них был темно-серый влажный волнистый мех, как на головке у выкупанного младенца, удивительно маленькие ушки плотно сложены, слепые мордочки почти как гладкие шарики.

Миранда еле слышно произнесла:

— Ой, я хочу посмотреть. И долго вглядывалась, — взволнованная, но не испуганная, она привыкла к виду живых существ, убитых на охоте, — охваченная жалостью, изумлением и каким-то восторгом перед этими крохами: они были такие малюсенькие, такие хорошенькие. Она потрогала одного пальцем, едва-едва. — О, на них кровь. — И сама не понимая почему, начала дрожать. Но, главное, она хотела видеть и знать. А увидев, сразу почувствовала, что знала это всегда. Забылась даже память о прежнем незнании, ей все это было знакомо. Никто ей никогда ничего такого не рассказывал, она без особого внимания наблюдала жизнь животных вокруг себя, они были для нее слишком привычны. Простые и грубые, но совершенно естественные и неинтересные. А брат держался так, как будто всегда все знал. Возможно, он и раньше уже такое видел. Миранде Поль не обмолвился ни словом, но теперь ей была известна, по крайней мере, часть известного ему. Она начала понимать то, что неопределенно, подсознательно таилось в глубинах ее души и тела, — теперь это смутное, инстинктивное знание постепенно, понемногу становилось определеннее и яснее, хотя она еще не сознавала, что познает то, от чего ей никуда

не деться. Поль произнес тихо, словно говоря о чем-то запретном:

— Они уже были готовы родиться. — И еще понизил голос на последнем слове.

— Я знаю, — кивнула Миранда. — Как котята. Знаю, знаю. Как маленькие дети. — Она поднялась с колен и стояла, держа винчестер подмышкой и глядя сверху на кровавые останки, тихо и вне себя от волнения. — Я не возьму эту шкурку, — проговорила она. — Не нужна она мне.

Поль запихнул маленьких кроликов обратно в живот матери, завернул в снятую шкурку, отнес в кусты и запрятал там. Возвратившись, он заговорил с Мирандой совсем другим, непривычным доверительным тоном, словно открыл ей как равной важную тайну:

— Теперь слушай меня. Слушай внимательно и запомни хорошенько. Не проговорись никому про то, что ты тут видела. Никому на свете. Особенно папаше, потому что мне будут большие неприятности. Он скажет, что я учу тебя вещам, которые тебе не надо знать. Он все время это говорит. А теперь иди и помни, чтоб не вздумала кому-нибудь невзначай проболтаться, по своей привычке… Это секрет. Никому ни слова.

Миранда никому и не рассказала, ей даже никогда и не хотелось. Первые несколько дней она все время про это помнила, и на душе у нее было тяжело и смутно. А потом память потихоньку ушла на дно и залегла там на добрых двадцать лет, заваленная грудой других впечатлений. Но однажды, когда Миранда пробиралась среди луж и отбросов по базарной улице чужого города в чужой стране, ей вдруг отчетливо, в подлинных красках, словно сценка в окне, ничуть не изменившаяся с того давнего времени, представился всплывший из темных глубин этот случай. Невесть почему она так испугалась, что остановилась, уставившись перед собой. Как сквозь дымку, она видела индуса и у него на подносе — фигурки из крашеного сахара: птички, цыплята, кролики, овечки, свинки. Все — ярких цветов и пахли чем-то вроде ванили… На базаре было очень жарко, среди груд сырого мяса и полузавядших цветов, стоял сладкий запах распада, как на заброшенном кладбище в тот день, который смутно запомнился ей только тем, что в этот день они с братом нашли сокровища в пустых могилах. Едва она об этом подумала, как ужасное видение растаяло, она отчетливо увидела брата, чье мальчишеское лицо успела забыть, — он

снова стоял, залитый лучами солнца, снова двенадцатилетний, улыбающийся, довольный, и вертел в руках серебряного голубя.

Перевод И. Бернштейн